

A 521

Алтай

1968

2

Электронная библиотека АКУНЬ, [elib.altlib.ru](http://elib.altlib.ru)

М 683082

\*

Электронная библиотека АКУНЬ, elib.altlib.ru

Электронная библиотека АКУНБ, [elib.altlib.ru](http://elib.altlib.ru)



Электронная библиотека АКУНБ, [elib.altlib.ru](http://elib.altlib.ru)



Электронная библиотека АКУНЬ, elib.altlib.ru

# АЛТАЙ

1968

2

М689082

**ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ**  
обозначенного здесь срока


Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

М689082



# АЛТАЙ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ  
АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ  
ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Год издания XXI

№ 2 (45) 1968

## В ПОМЕРЕ:

- «ДАНИЛКИНО УТРО» — ПОВЕСТЬ ИВАНА ЯГАНА.
- НЕИЗВЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ О МОЛОДОГВАРДЕЙЦАХ.
- НОВЫЕ РАССКАЗЫ ПЕТРА СТАРЦЕВА, НАДЕЖДЫ МЕДВЕДЕВОЙ.
- ИЗ ПРОШЛОГО — ПЕРВОЕ ТЕЛЕУТСКОЕ ПОСОЛЬСТВО В МОСКВУ.
- НА ВКЛЕЙКАХ — РИСУНКИ С ВЫСТАВКИ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА В БАРНАУЛЬСКОМ ДВОРЦЕ ПИОНЕРОВ.



М 68902

Электронная библиотека Алтай. elib.altlib.ru

ФОНД ПРЕССЫ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

**А. Баздырев, Н. Дворцов, И. Казанцев, Л. Квин (редактор),  
В. Сидоров, М. Юдалевич**

Оформление художника **В. Еврасова**  
На обложке: рисунок ученицы 5 класса  
66 школы Барнаула **Нины Махровой**

Электронная библиотека АКУНЬ, elib.altlib.ru



# Данилкино утро

ПОВЕСТЬ

1

Никого так крепко не любил Данилка, как своего деда Петра. Первые детские радости, первые светлые минуты — все с дедом связано. Вправду ли это или воображение рисует, но кажется Данилке, что он помнит себя совсем маленьким. Лежит он в качалке, туго скрученный по ногам и рукам повивалом, тряпичные дудульки сосет. Так слаще будто бы та, которую дает дед. Вот и Васятка, Данилкин братишка, охотней чмокает, если дудульку дед даст. Отчего так?.. Мать рассказывает, что первым Данилкиным словом было — «деда»...

Деревня, где живут Дедковы, называется Яркуль. Деревушка небольшая, но далеко приметная — примостилась на угорочке. Вокруг — тайга, в тайге — болота, балки с белыми ползучими туманами. Вот и взбежала она на бугор, чтобы от туманов не так зябко было, чтобы к солнцу поближе. И в самом деле: вокруг — хмури и хмари, на небе — тучи, густые темные пятна ползут от них по земле, а на бугре светло, словно тень никак не может взобраться на него.

Говорят, многие дома в деревне срубил Данилкин дедушка, когда помоложе был. А может, и название ей такое загадочное дал дед? Он ведь не как все — особенный. Роста невысокого, но широкоплечий и большеголовый. Ни покачнуть его, ни скovyрнуть — крепок, как кедр. Ходит медленно, но эта медлительность от силы.

И говорит он не торопясь, как бы изнутри, раскатистым басом. Голова у него черная, а борода красная. В его натуре много воловьего: все берет не урывком, а набóгом. Если захотел поспать, спит до полудня, будь то жнитво или сенокос, и ухом не поведет на соседскую молву. А выспавшись однажды досыта, может подниматься утренней заре ранее и ложиться позднее всех.

Несмотря на угрюмость, дед со всеми жил слюбно. Мастер был на все руки. Гнать деготь десять способов знал: ямный, корчажный, ноговой... Сам умел и пимы скатать и сапоги оподошвить. И все же семья

его почти все время пробивалась наголях. Летом гнал деготь, а зимой снаряжался и увозил его в Тару, отдавал за бесценнок купцу Златогорову. Другие мужики — неуступы — за самый дерьмовой корчажный деготь вдвое больше брали. Но Петр Тимофеевич будто не замечал этого, не то чтобы завидовать. Если бабка иногда пыталась укорить, указать на бедность, он отвечал: «Добра на свете много, всего не заберешь...» За это в Яркуле его прозвали Петраком.

Раньше он ходил в урман смолокурничать с Прохором, Данилкиным отцом. Потом — с младшим сыном Степаном. Но сейчас Данилкин отец и дядька Степан занимаются хлебопашеством, живут отдельно, и дед ходит на смолокурню один. Иногда берет с собой Данилку. Берет не работать, — какой из него работник! — а чтобы скучно не было, да тайгу показать. А в тайге бывать — хорошо!

Поднимутся о заре, возьмут с собой хлеба, квасу туесок, топор. Найдут в лесу знакомую полянку, подпразят шалаш и принимаются за дело. Заложат круглую яму еловыми голеньями, разожгут, землей закроют. На это почти весь день уходит. А когда уже солнце за деревья скатится и похолодеет, Данилка с дедом усаживаются у костерка. Поедят хлеба, по очереди припивая из туеска. И все молчком. Потом дед накидывает на плечи балахон, под балахон прячет Данилку, прижимает его к себе. Временами протыкает палкой землю на яме, держит ее несколько минут в кромешном аду и выдергивает. По обугленному концу определяет, как горят в яме дрова. И снова сидят молча, слушают, как в казан капля по капле стекает смола, как где-то в лесу бубнит филин: фу-бу, фу-бу...

— Деда, это кто?

— Это полуношник.

— А чего он говорит?

— Он говорит, чтобы все в лесу спать ложились, а кто заблудился — тем дорогу указывает.

— А это кто ревет?

— Это сохатый. Может, теленочек потерялся. Да он найдется, полуношник ему путь укажет...

А смола в казан — как-кап-кап. Пахнет смолой и горелой землей. У деда под боком тепло и покойно. Утром Данилка просыпается в шалаше: это дед его сонного туда перенес, а сам вернулся к яме. Спал, нет ли?..

В эту весну отец не отпустил Данилку с дедом. «Нечего, — говорит, — зря шлендать, дома дела есть». И дал Данилке работу — ошкуривать бревна. Ослушаться отца нельзя: он сердитый, поколотить может. Дед ушел на смолокурню один.

В Яркуле сеялись. Бабка Авдотья копалась на огороде, готовила



землю под коноплю и картошку. Несколько раз Данилка прибежал к ней на огород, спрашивал:

— Деда еще не пришел?

— Нет еще, — отвечала бабка. — Завтра должен.

Пришло завтра. Данилка — опять к бабке на огород:

— Деда пришел?

— Еще нету. День, чай, не кончился. Чего тебе не терпится? Сбегай-ка лучше в избу да принеси кувшин с квасом.

И Данилка убежал, припадая на левую ногу. Левая нога у него была короче правой от рождения. «Хромой», — так и говорили о нем в Яркуле. Только дед с бабкой да мать не называли так. Но Данилка, несмотря на хромоту, был половчее многих деревенских ребят. Он так приловчился к разным ногам, что в проворстве не уступал никому из своих сверстников.

В Яркуле школы не было. Иных отправили учиться на зиму в Ермолинку. А Данилку не отправили, хотя ему уже восемь лет. «Успеется, — сказал отец, — не по нынешним достаткам учеенье». Дед привез внуку из Тары азбучку с картинками, и тот по картинкам стал учить буквы, потом и слова, показывал их деду, и он молча гладил льняные Данилкины волосы. А бабка Авдотья с опаской, как бы по секрету, говорила деду: «Не к добру у него такое соображение. Такие долго не живут...»

...Данилка приковылял на огород с туеском, напоил квасом бабку, а потом сам попил. Еще не оторвал ото рта туесок, как его позвала из своего двора старшая сестра Маняша:

— Хромой, иди домой, батя зовет!

Отец встретил окриком:

— Иде ты шлендаешь?! Работы тебе нету? Бери-ка струг, иди за сарайку бревна ошкуривать!..

Сидя верхом на бревне, Данилка снимал с него смолистую кору. Временами влезал на плетень, смотрел в дедов двор: не пришел ли дед? Того все не было. Не вернулся он и к ночи. С тяжелым сердцем, даже не поужинав, забрался Данилка на полати.

Утром отец поехал на поле, а ему велел дострогать оставшиеся бревна. Только отец со двора — Данилка к бабке.

— Баба, сходить надо к деду...

— Ну, сходи, коли не терпится. Дорогу, чай, знаешь. Мишку Плахина позови, чтоб веселее было.

Данилка поковылял к Плахиным. Разбудил в сенках Мишку, мальчонку лет десяти.

— Миш, а Миш, сходим со мной в лес, к деду. Недалеко тут.

Мишка протер глаза, молча надел штаны.

— Пешком, что ли?



— Пешком...

— Не пойду.

— Ты слушай, сейчас пешком, а завтра за дегтем на Гнедке поедем. Дед возьмет.

— Ну, если так...

Пошли. Чтобы согреться, пустились по дороге бегом до Большой балки. Выбрались из балки, свернули в лес, пошли по узкой тропе. Данилка хорошо знал путь на дедову смолокурню. Когда до полянки оставалось недалеко, он приложил ладони ко рту и позвал:

— Деда-а-а!

Лес не откликнулся. Еще покричал. Голос укатывался в глубь тайги безответно.

Но вот сквозь сосны показался шалаш. Ребята направились к нему. Недалеко от ямы лежал дед, лицом в землю.

— Деда, ты спишь?.. — заговорил Данилка и осекся. Ребята увидели, что кожа на голове деда содрана от самого затылка на лоб вместе с длинными волосами... Ребята переглянулись и бросились в обратную. Два два Данилка падал, расшиб колени. И только на полдороге выдохся, захромал еще сильнее и заплакал.

Не заходя в деревню, побежали на поле к отцу. Прохор Петрович обедал. Увидев ребят, отложил еду, вопросительно посмотрел на них.

— Папаян, — робко залепетал сквозь слезы Данилка, — деда Хозяин задрал в лесу...

— Чего ты мелешь, варнак!

— Правда-правда, дядь Прохор! Мы сами видели! — затараторил Мишка. — Он там лежит мертвый, вся голова ободратая...

Прохор Петрович приподнялся.

— А тебя кто в лес-то послал?

— Я сам...

Отец замахнулся на Данилку, но не ударил, а только сказал:

— Не хватало еще, чтобы тебя задрал? Горе мне одно с вами, а не помощь. Ступайте домой! — Повернулся и пошел к опушке, где паслась лошадь. Расстроил ее, сел верхом, сердито нагнал под бока и умчался в деревню. Следом побрели и ребята.

Возвратились домой. Вся деревня уже знала о несчастье. Бабы стояли кучей в дедовом дворе, мужики, захватив ружья, уехали в лес. Данилка, как ни тяжело ему было, пошел за сарайку строгать бревна. Отец еще может побить, не глядя на горе, если его наказ не выполнить.

После обеда услышал, как деревенские мальчишки, мчась мимо, орали:

— Везут! Везут!

Подводы въехали в деревню. На одной из них лежал дед Петрак.

Из-под рогожи видны были ноги в самодельных чирках. Бабка Авдотья встретила подводу у двора, заголосила: «Кормилец ты наш! Пошто ты оставил нас несчастны-ы-х! Ды что жа мы таперь будем робить, ды куды жа мы денимси-и-и...» Женщины крестились, беспрерывно произнося: «Царствие небесное!» А потом по очереди успокаивали бабку:

— Не убивайся, Авдотья. Слезами его не подымеешь. Что суждено — не миновать.

— Так ему господом на роду написано.

— Все там будем...

А потом народ разбился на две толпы. Одна сопровождала деда в избу, другая окружила вторую телегу. На ней лежал огромный бурый медведь, из пасти его торчала затухшая головешка. Егор Плахин, Мишкин отец, объяснял народу:

— В кустах нашли Хозяина. Лежал лапами вверх, издохлый. Вон как ему дед Петрак головешку в рот всадил, до самых кишок достал. Кабы рядом с ним топор был, укокал бы. А то с голыми руками, видать, схватился. Токо и успел из огня головешку выхватить... Пострадал бедолага...

Данилка терся среди людей, слушал, что они говорят, и ему было среди них не так тяжело. Но стоило остаться один на один со своими детскими мыслями, как сразу начинал понимать, что вместе с дедом ушло что-то светлое, большое. То, что грело какую-то половину его невеселой житухи. От отца ему ждалось нечего, кроме холода и постоянного унижительного страха. Сам слышал, как отец матери выговаривал: «Родила уродину, сама и грей его. А мне чего от него ждаться? Всякий родится, да не всякий в люди годится. Работать кто будет?»

Сестренки старшие, когда их заставляли что делать, в один голос: «Пусть Хромой делает». Мать Данилку любила, да боялась это отцу показывать: и ее мог побить. Бабушка Авдотья тоже, кажется, отца боится. Она только и знает: «Беги домой, а то отец осерчает». Иногда только говорила; «Родной ты, Проша, да не своим детям. Грех так...»

Данилка зашел в дедову избу. Дед лежал уже в гробу. Лицо спокойное, только губы, казалось, недоговорили чего-то. Может, он хочет сказать: «Плачьте, плачьте! Все равно меня никто так не любил, как Данилушка». К гробу по очереди подходили дедовы дочери, Данилкина мать и тетка Катерина, голосили, причитали. Бабка сидела на табуретке у изголовья, поправляла что-то в гробу, отгоняла мух.

Пришел Прохор, стал распоряжаться бабами, заговаривал о чем-то с мужиками. Он был по-деловому озабочен, торопил с похоронами. Соседка, старуха Плахиных, робко заметила: в писании, дескать, сказано, что покойник должен переночевать хоть одну ночь в дому.

— А-а, — отмахнулся Прохор Петрович, — писание давно писано, а



покойному все равно теперь. Зачем еще одному дню пропасть зря? Нынче день год кормит, сеять надо... Горевать не горевать, а хоронить не миновать...

Пришли копачи, сказали, что яма готова. В избе с новой силой завыли женщины. Гроб поставили на телегу, крышку и белый крест несли подростки. Спустились с бугра, переехали низину и поднялись на другой бугор, поменьше, на котором были могилки. Заколотили гроб и опустили в яму на вожжах, сбросили по горстке земли. Данилка не стал бросать: ему казалось, что дед обидится.

Мужики стали быстро-быстро засыпать могилку. Поставили крест, подровняли продолговатый бугорок и заторопились домой. Ребяшня немедленно атаковала телегу, уселась, кто где успел. Данилка побрел сзади. Посмотрел назад, увидел на бугре белый крест на дедовой могиле. Крест светился в лучах заходящего солнца и ясно выделялся на зелени тайги, которая с трех сторон обступила кладбищенский бугор...

## 2

Прошло три года. Умерла бабка Авдотья. Сыновья деда Петрака поделили между собой невеликое его добро. Корова и вся рухлядь, какая была в доме и во дворе, досталась младшему, а старший взял мерина. Хотя Гнедко был стар, как тайга, все же Прохор тешил себя тем, что сейчас у него пара коней. Пусть неважная, но пара. Теперь можно было расширять свое поле. Каждую сажень приходилось брать у тайги потом, корчюя пни, подрубая корни у вековых сосен. Лишал себя отдыха, надорвал живот. Искудал, оброс, стал походить на лешака. Все больше появлялось злости на домашних. У других мужиков сыновья на подмогу поднимаются, а у него старшие — девки, сын-калека, самому меньшому, Васятке, четырех нет. Вот и надрывайся один за всех.

Уже три года, как царя скинули. В других местах, по слухам, крестьянам землю раздали. А в Яркуле жили по-прежнему, каждый сам по себе, да и не у кого было землю-то отбирать, разве что у тайги. Слухи о разных переменах, конечно, доходили, но никто толком так и не знал, с чего и как начинать ее, новую жизнь. Грамотных в деревне только и было — Егор Кузьмин, вернувшийся без ноги с германской войны, да несколько ребят, которые в ермолинскую школу ездят. Егор был грамотный настолько, что умел газету по буквам прочитывать, но половины слов не понимал. Вычитает, к примеру, слово «диктатура», а мужики ему:

- Ты, Егор, поясняй, что означает это слово-то: диктатура!
- Политическое это слово, — пытается вывернуться Егор.
- Сами знаем, что не плотницкое...



Если спрашивали у ермолинского попа, когда он появлялся в Яркулье, тот сердился и отвечал: «В писании таких слов нету, а коли нету, то вам оно зачем понадобилось? Бесовское это слово...»

Остальные тридцать-сорок яркульских мужиков расписывались крестиками...

...А в двадцать первом году пришла беда. Только взошли хлеба, полосанул град. Шел он часа два, выбил все. Остались голые поля. Ночью ударил мороз и довершил страшное дело.

Лето все же взяло свое: установилась теплая погода. Яркульцы выскребли последние запасы зерна, оставленные на еду, стали спешно сеяться. Посевы взошли быстро. Потянулись к солнцу. Но солнце оказалось таким щедрым, что вскоре ему были не рады. До самой осени с неба не упало ни одной капли, дожди обходили приунывшую деревеньку.

Надвигалась зима, а в закромах — ни зернышка. Одно спасение — черемша, растущая в рядах. В ближайших лесах ее уже повырвали, стали ходить за ней с мешками за десятки верст от деревни. Парили ее, солили на зиму в кадках. Прохор Петрович после черемши страдал животом. Держался на одном молоке. А молоко-то и хватало только для него. Даже на Васятке мать сэкономила, чтобы не свалился кормилец. А старшим так прямо и сказала: «Не барского роду — попьете воду».

И тут еще одна беда. Пустил Прохор коней пастись за огородом. Гнедко был уже настолько слаб, что у него тряслись ноги — не то от голоду, не то от старости. Но Прохор Петрович все равно его спутывал, когда пастись отправлял: как-никак — конь. И вот Гнедко вздумал перепрыгнуть через канаву со спутанными передними ногами. Прыгнул и завалился в канаву на спину. Там и кончил свой век.

Однажды вечером сидел Прохор Петрович на приступке возле крыльца, сдавив лохматую голову ладонями, думу думал. Поднял голову, когда услышал скрип калитки. Вошел Степан. Редко ходили братья друг к другу, жили на разных концах деревни. Значит, неспроста пришел младший брательник.

— Здорово, Проша!

— Здорово, Степа!

— Об чем думаешь?

— Да об чем! Все об том же — как дальше быть, где конец этому...

Степан тайно огляделся вокруг, сел рядом и зашептал:

— Есть, Проша, конец. Давеча видел, две подводы проезжали?

— Видел.

— Так вот, это ермолинские мужики. Сказывают, в Акмолу поеха-

ли жить. Там, говорят, урожай несусветный, хлеб нипочем. Земли, говорят, не нашим ровня...

— Хорошо, Степа, где нас нет. Кабы знать, где упасть, соломки постелил...

— Дык, Проша, худшего-то нам здесь уже и ждать нечего. Куды хуже еще! Люди же едут... А мы здесь до рождества не дотянем. Ежели ехать, так затепло. Ты как хошь, а я надумал.

— Земля, говоришь, есть?

— Сказывают.

— Ладно, подумаю. Завтра решим.

Назавтра, ополдень, пришел Степан к Прохору, а тот уже накладывает на телегу скарб домашний. Сложил кадки, горшки, корыто, и — телега полна. Поставил ее под навесом, чтобы лишних глаз не навлекать. Степан после вчерашней нерешительности Прохора опешил.

— Ты что, никак уже в дорогу?

— Да вроде бы так... Поглядишь — нишета одна, а как станешь собираться — телеги мало. Вот кадок нагромоздил, а теперь, видать, сымать придется. Детвору садить некуда... А ты уже уложился? Нет? Ну, давай иди, собирайся. Да так, чтоб не дюже видно было. Ночью тронемся.

Прохор Петрович был озабоченно оживлен, как в тот день, когда хоронили деда Петрака. Но на этот раз был гораздо любезней к Данилке. Полушутя-полусердито сказал:

— Ты, парень, давай не сиди, а пойдем делом заниматься. Тоже мне, мужик! Тащи во двор, что подымешь!

А Данилка и рад был. Старался изо всех сил. Мать с девчонками что-то стряпала на дорогу. Ну, что ж, пускай бабы занимаются своим делом, а у них с отцом свое — мужицкое: знай грузи да укладывай! И все молча, все молча. Радовала его и предстоящая дорога. Интересно, должно быть. Ведь дальше трех верст от Яркуля нигде не был, только слышал, что где-то есть Ермолинка, Муромцево, Тара, Киркрай какой-то.

Он метался от избы во двор и обратно, таскал и укладывал на телегу все, что велел отец. Бегал, припадая на левую ногу, а иногда и вприпрыжку на одной правой. Его белый чуб прилип к мокрому лбу, а он не устал, только синие глаза посверкивали вдруг неожиданно появившимся задором.

Как ни утапывали, как ни пристраивали барахло, а телеги не хватило. Тогда отец скомандовал:

— Давай, мужик, тащи из сарая две лесины, надбавим телегу!

Данилка притащил лесины. Отец пропихнул их под груз сзади, оставив метровые концы. На концы наложил досок, прибил гвоздями, лишнее отпил. Прибили стойки, зарешетили дощечками потоньше. Полу-



чился как бы висячий кузов. В него уложили постель и одежду. Все выходило быстро и ладно. Данилке было хорошо, весело.

Пока все уложили, начало стемнеться. Отец несколько раз обошел вокруг телеги, осматривал, пробовал покачивать ее рукой, подправлял что-нибудь. Заглянул в ступицы колес: смазаны ли? Побежал в сарайку, вспомнив про мазницу с дегтем. Привязал ее под задней осью телеги, сунул в нее квач. Данилка понял, что дорога будет дальняя.

— А теперь быстро к дяде Степану, — велел отец, — узнай, готовы ли. И сразу же назад. Да не болтай языком ни с кем.

Вскоре Данилка вернулся.

— У них уже все готово. Сели исть.

— Ну, пойдём и мы на дорогу подкрепимся.

Ужинали на крыльце — стол и лавки были уже на телеге. Вместо привычной тюри мать подала на ужин похлебку с курицей, оладьи со сметаной. Давно такого не ели.

Уже совсем стемнело, когда ко двору подъехала подвода Степана. Отец с матерью засуетились, хотя все уже было готово. Прохор Петрович повесил на двери замок, ключ спрятал под крыльцом. За домом он попросил доглядывать Плахина...

Стали запрягать Серка. Данилка взялся подтягивать чересседельник. Отец легонько отстранил его, затянув сынова, посильнее, а сын тем временем уже затягивал супонь. Сзади телеги привязали налыгачем корову Маньку. Отец скомандовал:

— Данилка, расхлебань ворота!

Тот зашкандылял к воротам, отодвинул лесину: ворота располовинились, и Данилка, уцепившись за одну половинку, проехал на ней во двор.

— С богом! — сказал Прохор Петрович.

— С богом! — вразнобой повторили взрослые.

Подводы тронулись, закрутились колеса, указывая прямыми спицами вперед, в ту неизвестную сторону. Туда же указывали оглобли, в ту же сторону нацелились носки самодельных чирков тех, кто шагал за подводами...

### 3

Ночью, полулежа в телеге, Данилка смотрел на звезды. В деревне он как-то не замечал, что на небе так много звезд. А может быть, и вправду над ночными дорогами их больше? Наверное, они стекаются к дорогам со всего неба, чтобы мальчишкам, едущим в неизвестные края, было на что посмотреть. Звезды гаснут, пригасают, вспыхивают, катятся по небу и падают в темный лес... Слышатся голоса — это идут,



разговаривая, взрослые, их не видать. Телегу покачивает на колдобинах. Сзади тянется на привязи корова Манька, у нее с каждым шагом пощелкивают на ногах ратицы. Манька изредка недовольно фыркает: она не привыкла ходить ночью, да еще так долго, не понимает, куда ее ведут.

Чем глубже ночь, тем становится прохладней. Данилка натягивает на плечи отцовский балахон, оставил наружу одну голову. Ему тепло, а уши холодные, на голове роса. Это и хорошо: спать не так хочется. Сестренки и Васятка уже поуснули. На телеге дядьки Степана утихомирился Гришка. А Данилка не спит, считает звезды. Одна, две, три, четыре, пять... Сбился: одну дважды посчитал. Одна, две, три, четыре... Телегу качнуло, звезды смешались, перепутались. Одна, две, три... Глаза закрылись, но все равно кажется, что звезды стоят перед глазами, будто закрытые веки стали небом, а на нем — звезды. Их тоже можно считать. Одна, две...

Проснулся Данилка в тишине. Телегу не качает. Приподнялся. Лошади выпряжены, пасутся невдалеке, корова тоже пасется, привязанная вожжами к сосне. Взрослых не видно. Данилка свесил голову за край телеги: из-под нее торчат ноги отца и матери. Посмотрел в другую сторону, увидел неподалеку дорогу. Солнца еще не было видно, но небо за лесом уже посветлело. Место совсем незнакомое. И небо не такое, как над Яркулем. По нему, в ту сторону, куда направлены оглобли, летели один за другим косяки гусей. Они были освещены солнцем, сверкали опереньем. От призывного птичьего крика защемило в груди. На телеге дядьки Степана, из ящика, гусак подал голос в ответ на призыв с неба. А потом он долго о чем-то переговаривался с гуской: выставляя шею в щель, разворачивал голову так, что один глаз смотрел в небо, а другой на землю, и что-то рассказывал гуске. Но она, наверное, не всему верила, так как вскоре сама выглянула в ту же щель.

На дороге послышался скрип тележных колес, показалась подвода-одноконка, тоже нагруженная домашним скарбом, на ней сидели бородатый мужик и женщина. Данилка свесился с телеги:

— Тять, а тять! Кто-то едет!

Отец с матерью проснулись, вылезли из-под телеги. Отец разбудил дядьку Степана. Они стояли рядом и тревожно смотрели на приближающуюся подводу. Данилке хотелось, чтобы они остановили ее и поехали сами вместе с тем мужиком: все веселей будет. Но когда подвода поравнялась с телегами, отец и дядька отвернулись от дороги, будто и не видели ничего, будто там никто и не едет. Мужик тоже не смотрел в их сторону. Только его жена сердито косила глаза на Данилку. Когда подвода проехала, дядька Степан в сердцах сказал:

— Тоже туда. С наших краев бегут.

— Приедем к шапошному разбору, — проговорил отец. И Данилка понял, что там, куда они едут, есть что-то такое, что могут разобрать, расхватать, если приедешь после других...

Приехали к переправе. Дети никогда не видели такой широкой, такой величавой воды. По реке, дымя, шлепая лопастями гребных колес, шел пароход. С любопытством смотрели из-под ладоней ему вслед, пока он не скрылся из виду. Потом мужики спустились к парому, на котором уже стояла чья-то подвода. Стали говорить с паромщиком. Видно было, как тот отмахивался от Прохора Петровича и дядьки Степана. К своим телегам они вернулись смущенные и озабоченные. За переправу требуются большие деньги, а денег нет. Дядька Степан вытащил из ящика орущего гусака. Снова спустился к реке. Паромщик взял гуся, покачал его, как бы взвешивая, и согласно махнул рукой.

Данилка с сестренками так и не поняли, как движется паром и почему его не понесло по течению. Он лишь поскрипывал под тяжестью подвод, легонько покачивался. Вода доплескивала иногда до тележных колес, кони вздрагивали. Спокойны были только коровы. С каждой оглядкой Данилка замечал, что один берег удаляется, а другой наплывает. Вот паром легонько приткнулся к причалу, паромщик убрал загородку, и подводы съехали на берег.

Тара огорошила яркульских странников своей многолюдностью, своим размахом. Бодрее других держался дядька Степан: ему и раньше доводилось бывать здесь. А пацаны и женщины с одинаковым изумлением и робостью разевали рты на двухэтажные рубленые дома, на людей с портфелями, в кожаных тужурках, с наганами на боку. Бродило по улицам много и таких, как они, яркульцы: в домотканых зипунах, в самодельных чирках. Вместо портфелей и чемоданов они носили за плечами грязные мешки.

Въехали на базарную площадь. Сразу же все заслонили цыгане. Цыганки лезли к женщинам гадать, цыганята прыгали вокруг, били себя ладошками по коленям, по задам, по животам, показывали языки. Дядька Степан отпугнул их кнутом. Отец только головой крутил, а Данилка глазел, хохотал с Гришуткой над цыганятами.

Прохор Петрович и Степан еще в дороге договорились продать одну корову: поняли, что без денег дальше ехать нельзя, да и на месте нужны будут деньги. Вот они сейчас и решили приглядеться почем коровы. Гришка ни за что не хотел оставаться на телеге с женщинами, запросился с отцом. Степан Петрович уступил, да так, что и Данилку надо было взять:

— А, шут с вами! Идите, да не отставайте!

С трудом протискивались сквозь барахолку. То и дело отцов хватили за руки, за полы какие-то люди и говорили:



— Купляй, мужик, сапоги! Жжимы, на пять лет хватит. Лишнего не возьму!

— Слышь, борода, бери робенку обутки!

— Бери галифе! Сам бы носил — нужда заставляет...

Яркульские мужики только смущенно отмахивались. Пробились к скотному ряду. Там — рев коров и быков, ржанье лошадей, свиньи визжат, овцы бекают. Стали приглядываться со стороны. Безносый парень продает поросенка в мешке. Какой-то бородач из деревни торгуется с ним. Сговорились. Деревенский достал деньги, начал считать. Пять раз пересчитал, отдал.

Безносый говорит:

— Бери, мужик, пускай растет на здоровье! С мешком бери!

Бородатый тянет руки за мешком с поросенком. Еще не дотянулся, а его кто-то рукой по плечу — хлоп! Он оглянулся: никого. Взял у безносого мешок, вскинул на плечи и пошел, а минуты через две прибежал назад, озверелый, словно с ума сошел.

— Ах, ирод, ах, варнак окаянный! Ды иде же его совесть! Ды!..

Мужика окружили любопытные. Тот раскрывает мешок и, захлебываясь, объясняет:

— Поглядите, люди добрые, что он, варнак, мне подсунил! Кобеля! Ды на кой шут он нужен! Я же боровка покупал!.. Как же это он меня облапошил?!

Люди хохочут. Мужик руку в мешок, а оттуда: р-р-р-ав! Он поднимает мешок и с силой ударяет им о коновязное бревно. Раздается собачий визг. А созерцатели советуют:

— Выпусти ты его, пущай бегаёт, гавкает! Поискал бы лучше, кто тебя облапошил...

В лошадином кругу кишат чернобородые цыгане. Водят по кругу лошадей, из полы в полу передают проданных, берут купленных. Один цыган, с огромной круглой серьгой в ухе, зазывает покупателей. Он часто машет руками перед мордой коня, а тот при каждом взмахе задирает голову, перебирает ногами и чуть на дыбы не встает. Цыган — то ли вправду, то ли нет — сам пугается, опасливо и недоверчиво смотрит на коня, приговаривает: «У! У! Сатана! На месте не стоишь. Попадешься хорошему человеку, он из тебя выбьет норов. Как шелковый будешь!» А в толпу кричит:

— Милый человек! Али не видишь: от сердца голубка отрываю. Ни сапаты, ни горбаты, животом не надорваты! Покупай, во всю жизнь не пожалеешь! Погляди, как он, голубец, на тебя смотрит! Виноходец необъезженный!..

Неподалеку от Данилки стоят двое мужчин. Один другому говорит: «Думаешь, Никеша, почему конь так пляшет? Он, цыган, его два дня

как украл где-нибудь, и все это время бил кулаком по морде, чтобы запугать. А теперь, как рукой шевельнет, так конь и затрясется, места не находит. «Виноходец!» Сказано: не бери у попа дочери, не купи у цыгана лошади»...

Пошли, где коров продают. Присмотрелись, нашли покупателя, татарина. Повели его к подводам. Татарин показал пальцем на Маньку:

— Этот?

— Нет, эту вот, — показывает Степан на Лысуху.

— Давай этот, какой разница!

— Нет, нам эта самим нужна.

— Какой цена аканшательный?

— Двадцать миллионов.

— Уй-вай! Мой такой цена три коровы покупаем. Десять миллионов — пойдет!

— Нет, не пойдет, — отвечает Степан Петрович.

— Не пойдет, — вторит ему Прохор Петрович.

Татарин решительно уходит. Через десять шагов возвращается, снова тянет руку Степану Петровичу:

— Давай сват будем! Тринадцать — аканшательный цена. Уступай!

Мужчины переговорили.

— Восемнадцать — окончательно. И так дешевле. Корова справная, а тебе ведь все равно ее на мясо.

— Не идет, — сказал татарин и снова ушел. Постоял в стороне, вернулся. — Давай рука, сват будем. — Степан Петрович ударил с татарин по рукам.

— Семнадцать! — говорит татарин. Степан Петрович отнимает руку, а татарин уходит.

Прохор Петрович говорит:

— Соглашался бы, Степа, за семнадцать. Нужда цены не ждет.

— Ничего, он еще придет, — отвечает тот.

Через несколько минут татарин приходит с другим татаринном, протягивает руку Степану Петровичу:

— Восемнадцать — согласный будем!

Бьют по рукам. Разнимают руки. Татарин показывает на Маньку:

— Этот корова — согласный. Тот — несогласный.

Яркульцы в недоумении. Прохор Петрович вспылит:

— Пошел к чергу, варнак! Не морочь голову! И так задаром отдаем!

— Сам шайтан! — тоже сердится татарин, но оба стоят, не уходят, говорят друг с другом по-своему. Потом первый татарин молча вынимает из мешка бумажные деньги, складывает их на землю, придавливая сапогом, чтобы ветром не разнесло. Считали долго — яркуль-



цы не часто обращались с деньгами, боялись обсчитаться. Наконец стали складывать бумажки в мешок. Полмешка набрали. Отвязали Лысуху и отдали налыгач в руки татарину. Тот сердито принял и увел корову.

Тетка Катерина заплакала, упала в телегу, трясясь всем телом. Стала плакать и Данилкина мать, но не так сильно. Хоть и решено, что Манька будет теперь на двух хозяев, все-таки ее не продали. Она привязана к телеге, смотрит своими доверчивыми глазами на хозяйку, жует жвачку...

4

И снова — дорога. Передней едет подвода Данилки. Мальчишка поминутно почмокивает на лошадь, встряхивает вожжи, и они тихонько лякают по бокам Серка. А тот только ушами поводит, словно хочет сказать: «И чего лякаешь? Иду ведь...» А с Данилкой чудо делается. Приосанился, оглядывается на сестренку и Васятку:

— Чего разбесились! Вот свалитесь с телеги — тогда узнаете... Но, Серко!

Где-то вдалеке дым поднимается: наверное, солома горит. Данилка догадывается, но в воображении рисуется другое. Куда интересней думать, что это горит какая-нибудь деревня, а он, Данилка, мчит во весь опор, чтобы помочь людям. Может, деревню враги подожгли? Вспомнилось, дед пел: «Шумел, горел пожар московский, дым расстился по реке...»

А может, это беляки какую деревню подожгли. В позапрошлом году ведь, когда красные поперли их, спалили они Дубровинку. Обкладывали дома соломой и поджигали. Дым от пожара в Яркуле видать было. Говорят, и теперь еще в лесах банды прячутся, которые ударить не успели, грабят на дорогах мужиков, коров и коней в деревнях забирают...

Данилка даже приподнимается, всматривается вдаль, сильнее всхлестывает Серка. Но дорога вскоре делает закорючку влево, и дым остается сзади.

Ехали по многим деревням, о каких никогда и слыхом не слыхивали. И не видно, вроде, было той бедности, какой напуганы яркульцы. Встречаются подводы с мешками пшеницы, в степи видны высокие стога сена. На полях зеленеет молодая озимь. Прохор и Степан стали приглядываться. Плечами пожимают.

— Живут же люди, никуда не бегут...

— До них, видать, не достал град, — предполагает Степан. — Ежели здесь ничего живут, то в Акмоле не хуже, поди.

А лошади идут вперед, колеса делают свое дело. И кажется яркульцам, что их уже нельзя остановить. Да и незачем. Будь что будет!

Но чем ближе Акмола, тем больше пугала взрослых яркульцев дорога. На ней все чаще и чаще попадались встречные подводы таких же переселенцев. Ползли они в ту сторону, откуда ехали яркульцы. Прохор и Степан боялись заговаривать со встречными, начиная догадываться, что с каждой верстой, с каждым шагом погасает сказка, рассказанная проезжавшим через Яркуль мужиком и дорисованная Степаном. Степан, чувствуя себя виноватым, все больше мрачнел. Пасмурнел и Прохор Петрович. Женщины смотрели на них выжидающе. И все-таки у всех тлела еще какая-то надежда.

И вот, когда до Акмолы оставалось всего верст десять, отец Данилки не выдержал, остановил встречную подводу и заговорил с хозяином:

— Откуда, хозяин? Не из Акмолы ли?

— Оттоль!

— А куда?

— А куда глаза глядят... Наше дело воронье: куда захотел, туда и полетел. Может, в Ишим, может, в Тюмень... Теперь — хоть до Кракова — везде одинаково...

— А что в Акмоле-то не глянулось?

— А чо в ней? Без нас голи хватает.

— Что так?

— Что? Голодающих наперло — позернуться негде... Из Поволжья. Все уже объели. А вы не в Акмолу ли?

— Туды...

— Чо там не видали? Поворачивай назад. Одно слово, хочешь, как хочешь, а не хочешь, опять твоя воля...

Акмолинец стегнул лошадей и поехал дальше. А яркульцы стояли немо, ссутулив плечи, не глядя друг другу в глаза. И Прохор Петрович взорвался. Он в отчаянье швырнул под ноги кнут и взревел на Степана:

— Земли свободные! Хлеба — завались! Вот тебе и земля, вот тебе и хлеб! Дома бы травой прокормились, а тут и травы нет. Ешь теперь эту землю! — И он зло пнул ногой мокрую от холодного дождя дорогу.

— Да брось ты, Проша, заранее хоронить себя, — заговорил Степан. — Уж и поверил этому шутоломному. Брешет он, как кобель. Приедем — сами увидим...

— И так уже видно, дальше некуда! — оборвал его брат.

И все-таки взял Серка за узду, и тронулись дальше. Вел задумчиво коня, и уже это небольшое дело отвлекало его от горьких мыслей.



Ни с того, ни с сего на языке стало вертеться — «Акмола, Акмола...» Что бы означало это слово? Никогда не задумывался, что значит Яркуль, а тут — Акмола.

— Не знаешь, Степан, что обозначает по-нашему Акмола? — повернулся он к брату.

— А шут его знает...

Какая она, эта Акмола? Город ли, деревня? Кто тут живет? Вокруг ни лесов, ни речек, а только степь, степь. Над степью — серое осеннее небо, из него сеет холодный дождь, временами — вперемешку со снегом.

Дорога подвела к речушке с крутыми берегами, с желтой водой, пошла берегом, к сереющему вдаль селению. Показались первые избы. Но это были не яркульские деревянные избы, а низенькие ободранные дерновки, какие встречались в оставленных позади казахских аулах. На плоских крышах рос бурьян, высохший и почерневший. Во дворах бродили огромные желтые собаки, поджарые и длинноногие. Из окон выглядывали чумазые казашата.

Чем дальше ехали по улице, тем заметнее менялся ее вид. Стали встречаться и деревянные дома, но не рубленые, а дощатые, засыпные. А потом показались и каменные. На улице стало больше людей.

Проход Петрович сошел с дороги и спросил у проходившего по деревянному мостку человека:

— Скажи, гражданин, это что за деревня?

— Это не деревня. Это Акмола.

— Акмола?!

— Да, Акмола.

— А скажи, пожалуйста, чего она обозначает по-нашему?

— Точно не знаю, но сказывают, будто по-нашему это — белая могила.

— Как?!

— Белая могила...

Проходра Петровича как ножом по сердцу полоснуло.

— А не скажешь, куда здесь приедем обратиться, ежели, к примеру, мы жить сюда приехали?

— Это в уезд надо идти. Тут недалеко. Как на булыжную дорогу выедешь, так напротив большого магазина и будет уезд...

## 5

Поселились яркульцы в половине дома пустого и неотренированного. Когда-то в нем жил не то купец, не то заводчик. Обои на стенах ободраны, печь сломана, но кирпич уцелел. Мужики развалили

печь совсем и сделали ее на свой лад — поменьше и попроще, построили плиту. Во дворе дров не оказалось, и на первую топку пошла привезенная лавка. Но одним теплом не проживешь. Дорога она и есть дорога: перебивались с едой день ото дня, жили ожиданием. А теперь? Куда ставить Серка, Чалого и Маньку? Чем их кормить, что есть самим? Чем заниматься, какой работой?

Прохор Петрович со Степаном на следующий день пошли на базар. Не столько за покупками, сколько разузнать, чем тут люди живут, что за люди. Базар был многолюден, но, как показалось, в большинстве народ ничего не покупал и ничего не продавал, а только к чему-то приглядывался, прислушивался. Люди одеты как бы на скорую руку. Базар кишел грязной пацанвой, видать, беспризорной. Пацаны толпились у прилавков и, подмаргивая друг другу, канючили у торговок:

— Почем пирожки, тенька?

— Тенька, почем сметана?

Тетеньки не отвечали на их вопросы, зорко следили за своими корзинами и карманами. А иногда раздавалось: «Вот щас позову милицейского, тогда узнаете, что почем!» И пацаны откочевывали к другому прилавку.

Прохор Петрович со Степаном, узнав, что корова стоит сто миллионов, ахнули. Дернуло же их продать Лысуху в Таре за восемнадцать! А когда узнали, сколько стоит бухка хлеба, руками всплеснули.

Узнали мужики и другое: работу в Акмоле не так-то просто найти. Есть здесь большая скотобойня, маслозавод, мельница. К управлению ими вернулись бывшие хозяева. Но хозяева на работу не принимают, а принимают союзы. Чтобы вступить в союз скотобойцев или маслоделов, нужно иметь несколько поручателей. А где их найдешь? Прохор Петрович и Степан поняли, что по базару потому и бродит много народу, чтобы завести полезные знакомства...

Зима быстро накинулась на степной край, не дала опомниться тем, кто ее не ждал или не успел подготовиться. В доме было голодно и холодно. Деньги, вырученные за Лысуху, кончились. Сожгли последнюю лавку. Ездили в степь, косили сухой курай на топливо. Но привыкшие к дровам, не умевшие их экономить, женщины никак не могли научиться топить кураем. Натаскивали его в избу целую гору, почти до потолка. Ребятишки делали из него, колючего, пучки, ломали их через колено и запихивали в разожженную печку. Пламя на минутку угасало, оставался жар. Только что затолканный в топку курай понемногу подсыхал, начинали часто потрескивать полынные головки. А потом вдруг ухало и в избу выбивало пламя с пеплом и дымом. Кто-нибудь из ребятишки, раздувавший в это время пламя, отлетал от печки и валился спиной на пол, хохоча и закрывая руками лицо. А пос-



ле долго сидел, тер кулаками слезящиеся от дыма глаза. Печка минуты две-три гудела, прося еще подбавить топлива. Ей добавляли, она умолкала, а затем снова недовольно фыркала. В избе нагревалось медленно и быстро остывало. Ребятишки так и не отходили от остывающей печи.

Гришутка с Данилкой отвоевали себе плиту. Сиделись на нее, подстелив тряпье. Через некоторое время тряпки сбрасывали, снимали конфорки и засовывали ноги в горячую золу. Лица их в это время были невозмутимо спокойны, иначе попало бы от матерей. Но их и так иногда выдавала зола, вываливаясь из форточки или поддувала.

Однажды, когда Данилка с Гришуткой сидели на плите, грея ноги в золе, кто-то легонько постучал в дверь. Никто из яркульцев не понимал, что на стук надо отвечать: «Войдите». Маняша толкнула дверь, и в дом вошла незнакомая женщина в коротеньком черном полушубке с опушкой и в меховой шапочке, с портфелем в руке.

— Можно к вам? — при первых же словах она улыбнулась, и Данилка увидел, что у нее красивые розные зубы, а на щеках, румяных от мороза, ямочки.

— Милости просим, проходите! — растерянно заговорила Данилкина мать. — Садитесь...

На подставленную табуретку незнакомая села не сразу. Она, не торопясь, осмотрела дом, задержала взгляд на плите, где сидели ребята, и заулыбалась еще сильнее. Данилка с Гришкой смотрели на нее, не мигая, разинув рты.

— Вы что же это, хлопчики, как старики, в избе сидите, печку разваливаете? — Голос ее был чистый и веселый. Простые и понятные слова звучали совсем не так, как в разговоре яркульцев. Когда говорят отец с матерью или дядя Степан, они слова не договаривают до конца, и понимает их Данилка с привычки. А у этой каждое слово выговаривается так ясно, что не успеет она сказать, а уже все понятно. Слова как бы круглые, нигде не зацепляются.

— Так что же молчите-то, ребята? Будете на печке сидеть, ничего не увидите, не узнаете. Почему в школу не ходите?

Ребята стыдливо опустили глаза. Данилкина мать тоже покраснела, стала поправлять платок на голове, кофтенку одергивать, на руки свои посмотрела, оправдывается:

— Холодно у нас, вот они и греются... Да вы садитесь.

Женщина села на табуретку, на колени поставила портфель и достала из него тетрадку.

— Я учительница, меня зовут Полина Федоровна. Пришла узнать, сколько у вас ребят и почему в школу не ходят.

— Да не в чем ходить им. Ни на ноги, ни на себя. Вон у нас еще

трое, тоже голые. — Из-за печки уже давно высунулись лохматые головы Маняшки, Варюшки и Васятки.

— Сколько лет девочкам?

— Одной четырнадцать, другой тринадцатый пошел.

— Они уже учились?

— Нет. У нас в деревне школы не было.

Женщина поднялась, подошла поближе к девочкам.

— Читать, писать, конечно, не умеете?

— Не, — говорит Маняшка, — только буквы которые знаю. Данилка научил.

— Это кто же такой Данилка?

— Да вон на печке сидит.

Учительница повернулась к плите, посмотрела на ребят, как бы отгадывая, кто из них Данилка. А у него заколотилось сердце так сильно, что дышать трудно стало. Учительница подошла поближе, потрепала его по голове. Никто не понял, как отгадала она, что Данилка — это он. Когда Полина Федоровна гладила его голову, из Данилкина чуба облачком закурилась пыль.

— У-у-у, сколько золы в голове у тебя! Наверно, больше, чем в печке? — Засмеялась, но не обидно, а так, что Гришка тоже заыкал, за печкой хихикнули девочки. А Данилка стыдливо взял в рот указательный палец.

— А тебя кто буквам научил?

За Данилку ответила мать:

— Дедушка у нас был, купил ему азбуку, а он сам и дошел.

— Молодец! — говорит учительница. — Обязательно надо в школу ходить. — Она повернулась к матери: — Вы говорите, не во что одеться ребятам. А дома они в чем?

— Да в чем попало, и в пир и в мир — все в одном. Есть одежонка, да худая вся, стыдно-то на люди выпускать в ней.

— Стыдно, говорите? Чего ж тут стыдиться, если время такое. Посмотрели бы, как другие в школу ходят. Тоже — кто в чем.

— Оно-то так, — соглашается Данилкина мать, почуяв, как убедительно и просто рассуждает учительница.

— А раз так, то собирайте детей в школу. Вы завтра сами приходите, там у нас кое-что есть. Комсомольцы по дворам ходили, собирали ненужное. Одеждой не назовешь, но на худой конец сойдет. Шинели, кажется, остались. Из них можно что-нибудь сделать.

Пока Полина Федоровна говорила с матерью, Данилка с Гришкой перекочевали с плиты за печку, чтобы учительница еще не пошутила над ними. И так стыдно. Но вскоре Данилке пришлось вылезть из-за печки: Полина Федоровна опять с ними заговорила.



— Что ж вы, мужчины, попрятались? Или в школу не хотите? А я хотела послушать, как Данилка читать умеет. У меня вот букварь есть.

— Выдь, Данилка, почитай! — скомандовала мать.

Он вышел, стараясь меньше хромать: левая нога его касалась пола только пальцами, и Данилка не так заметно припадал на левый бок. Он думал, учительница обязательно скажет: «Да вы у вас хромой!» Но она показала пальцем в букварь:

— Что вот здесь написано?

— Мы-а мы-а, — пропел и добавил: — это написано «мама».

— Верно. А вот это прочти.

Данилка мычать не стал, пошевелил про себя губами, а вслух сказал:

— «Мурка» это написано. Кошку так зовут.

— Отлично! Считаю, что ты уже один урок отучился и тебе можно поставить отметку.

Она ласково обняла его за плечи, слегка покачала из стороны в сторону, будто хотела узнать, крепок ли он на ногах. А он не смел глаз поднять, не верил, что все это происходит с ним наяву. От ее одежды пахло морозом и мятой.

— Так что, ты уже ученик. Приходи в школу. — Она легонько отстранила его. За печкой услышал, как Полина Федоровна полушепотом спросила у матери: «А что у него с ножкой?»

«А вдруг хромых в школу не принимают», — мелькнуло у него в голове. Но учительница уже громко говорила с матерью о Гришке:

— Они не близнецы?

— Нет, Гришка не наш, золовки моей мальчонка. Она на базар ушла.

— Так вы передайте, чтобы его в школу собирала. У него одежда есть?

— Какой там! Два пана и оба без кафтаня.

— Ну, ничего, все уладится. До свидания!

Она часто и звонко застучала ботинками по полу.

На следующий день мать с теткой Катериной пошли в школу к Полине Федоровне. Принесли домой две серые шинели с обтрепанными рукавами и полами, без пуговиц, два замасленных ватника, тоже с дырками на рукавах и подкладе. Среди принесенного «добра» были большие сохшиеся сапоги, валенки с прошорканными насквозь задниками.

Нагрели воды, постирали одежду, сапоги поставили в воду отмачиваться. Все высохло на третий день. Пока сохли шинели и ватники, Данилка часто подходил к ним, развешенным вокруг печки, и щупал пальцами. Надоедал матери: «Мам, они уже сухие». Но мать отвечала:

«Я знаю сама, когда будут сухие, потерпи уж день, никуда школа не убежит...»

Наконец женщины и сестренки занялись починкой одежды. Укорачивали шинели, остатками латали дырки. Обрезали и подшивали рукава. Данилка и Гришка в это время делали из палочек пуговицы.

Начали примерять одежду. Только Васятке нечего было надевать, он завидовал старшим. Данилка заметил это и сказал:

— Ты, Васятка, мой старый пиджак будешь носить, он еще ничего...

6

Данилка проснулся рано — ни свет, ни заря. Он еще с вечера пытался представить школу. Она рисовалась ему светлыми чертогами из дедовых сказок, где, будто добрая царевна-хозяйка, ходит учительница, Полина Федоровна, все в той же шубейке с опушкой понизу и в меховой шапочке...

А школа оказалась самым обыкновенным домом. Стены побелены давно, известка кое-где облупилась, крыльцо сильно просело и покосилось, но оно выскоблено и вымыто до блеска. Возле крыльца венник, чтобы снег с обуви обметать. Данилка долго хлестал им свои сапоги, настолько большие, что они были пусты наполовину. И тут подошла Полина Федоровна. Данилка не успел сказать «здравствуйте», как она взяла его за руку и повела в класс, помогла раздеться, повесила Данилкину одежду на вешалку у глухой стены, разделась сама. На ней было черное платье с белым кружевным воротничком; такими же кружевами заканчивались рукава платья. Теперь она казалась меньше ростом и моложе.

Учительница показала, где ему сесть, и он пошел меж двух рядов парт, никого не видя, ничего не слыша. Только усевшись, заметил, что все смотрят на него, наверное, потому, что он новичок и проковылял по классу по-утиному. Были здесь ребята и поменьше и побольше Данилки. Один мальчик, белоголовый и с белыми, как у поросенка, ресницами, подмигнул и показал язык.

В классе было шумно, громче всех кричал мальчишка с белыми ресницами.

Полина Федоровна постучала кончиками пальцев по столу.

— Хватит шуметь, ребята! Познакомимся с новичками. Теперь у нас будут учиться, — она заглянула в тетрадку, — Варя, Маруся, Данилка и Гриша Дедковы. Они приезжие и в школе еще не учились. Вы, ребята, им помогать должны, они же отстали от вас... А теперь начнем урок.



Видя, что белобрысый мальчишка показывает новеньким язык и продолжает вертеться, Полина Федоровна окликнула его:

— Навроцкий, встань и скажи, какой сегодня день!

Тот поднялся.

— Середа.

— Не «среда», а «среда». А во-вторых, сегодня другой день недели. Ну, кто скажет, какой? Скажи, Люба!

Поднялась девчонка лет двенадцати.

— Четвергник.

— Четверг, Люба, а не четвергник. — Полина Федоровна рассмеялась.

Данилка тоже заулыбался, глядя, как звонко хохочет учительница. Он сам давным-давно так не смеялся, а может, и никогда. В их семье всегда было невесело. У отца кислое лицо, то одним он недоволен, то другим, а теперь вот жалуется на живот. Мать боится его, сестренки тоже. Данилка вспоминает, что лишь однажды отец не косился на него, — это когда собирались уезжать из Яркуля. Может, потому, что он в то время торопился побыстрее уложить вещи и не до Данилки ему было. А во все остальное время он еще больше мрачнел, когда Данилка попадался ему на глаза. А тут — никого: ни хмурого отца, ни каменного лица матери. Вот и сестренки повеселели, тоже, слышно, хохочут.

Полина Федоровна сказала:

— Хватит, ребята, смеяться. Продолжим урок. Кто скажет, на что похожа буква А?

Все молчат, никто не поднимает руку.

— А может, новенький скажет? Ну-ка, скажи... — Полина Федоровна посмотрела на Данилку. — По глазам вижу, что знаешь.

Данилка встал, огляделся, убеждаясь, что его и впрямь спрашивают, и негромко сказал:

— На саженку она похожа... Которой землю меряют.

Многие ребята не знали, что такое саженка, а потому насторожились, кто-то хихикал.

— Правильно! — одобрила учительница. — Думать, ребята, надо. Вот Данилка подумал и сказал. А буква Г на что похожа?

— На коцергу! — дружно гаркнули все.

— Ну, это-то вы знаете...

Вышли на перемену. В классе было холодно, и ребята сразу бросились на улицу, побегать, согреться. У Данилки еще не было товарищей, и ему не за кем было гоняться, и за ним никто не гонялся. Все бегают, и он начал бегать сам, делал круги, петляя по снегу. Вдруг кто-то подставил ему ножку. Он мягко плюхнулся в снег лицом, расхохотался, по-

думав, что с ним тоже решили играть. Встал, увидел рядом белобрового мальчишку. Снова забегал по кругу, и снова подножка, и уже больно ударили по ноге. Опять белобровый. Стоит, не смеется, а показывает язык. В глазах что-то неприятное. Данилка перестал бегать, стал возле стены и смотрел на детвору. Сестренки уже разговаривали с другими девочками. А у него — ком в горле.

— А ты почему не играешь? — Из школы вышла Полина Федоровна. — Так ты замерзнешь. Пойдем-ка! — Она взяла его за руку, потянула за собой. — Догоняй меня! — и побежала. Он быстро-быстро заковылял за ней. Она подпускала его на вытянутую руку, а потом, чуть свернув в сторону, останавливалась, и Данилка пролетал мимо. А Полина Федоровна смеялась и приговаривала:

— Ой, какой ты быстрый, не убежишь от тебя! Вот это парень!

Пока кончилась переменка, Данилке стало жарко и снова очень весело. Прошла обида на белобрового; его звали Марием, а фамилия Навроцкий...

Как-то на уроке физкультуры Полина Федоровна разделила ребят на две группы. Одним сказала: «Вы будете «красные», другим: «А вы «белые». Данилка оказался среди «красных». Начали играть вперегонки. Кто из своей шеренги быстрее добежит до учительницы, тот и победит. Стали бегать. То «красный» победит, то «белый»; поровну выходило. Данилка в своей шеренге оказался последним — был мал ростом. Глянул в сторону «белых»: бежать ему с белобровым.

— Раз! Два! Три!

Он бежал, и все в глазах его качалось из стороны в сторону, даже лицо учительницы качалось влево-вправо. Только слышал, как она хлопала в ладоши и кричала: «Быстрее, быстрее, Данилушка! Быстрее!» и протягивала к нему руки. Он так и прилип к ней, сделав последний шаг. Она обхватила его и даже приподняла немножко.

— Молодец, Данилка! «Красные» победили!.. А теперь — отдыхать, на переменку!

Полина Федоровна ушла в школу, а ребята продолжали обсуждать бежки. Мальчишки хлопали Данилку по плечу и говорили: «Хромой, а молодец!» Подошел Марий Навроцкий, тоже хлопнул его по плечу. Но когда тот повернулся к нему, плюнул Данилке в лицо и отошел. Ребята остановили его, взяли за руки, повели обратно.

— Плюй, Данилка, в поповскую рожу!

Данилка растерялся. Поднял глаза и глянул в лицо Марию. Оно было злое. Почему-то вспомнились остекленевшие глаза медведя, который задрал деда. И Данилка отвернулся.

Ребята наперебой заговорили:

— Ты не бойся, за него не попадет. Он сам виноват.



— Он злится на всех, кто хорошо учится. В этой школе евонный батя учил, он у него поп. А комсомольцы пришли и выгнали его, привели свою училку, Полину Федоровну.

— Это его батя научает.

— Он второй год в первом классе сидит. Мы большие, так мы вовсе не учились, а теперь заставили...

После этого случая Марий Навроцкий не трогал Данилку, но продолжал показывать язык. Но это не обижало и не злило: у Данилки уже было много друзей...

Когда начинали учить новую букву, Полина Федоровна всегда ставляла учеников придумывать слова, которые начинаются с этой буквы, спрашивала, на что похожа буква. Это было интересно. И вот подошли к букве «Ч».

— Давайте, ребята, слова придумывать на букву «Ч». Чур, в книжки не заглядывать. Кто первый?

Данилка осмотрелся кругом, нерешительно поднял руку.

— Скажи.

— Чересседельник.

— Правильно. Кто еще придумал?

— Черт! — выкрикнул Петька Маслов.

— Подходит... Ладно... Кто еще?

Руку поднял Марий Навроцкий, поднял решительно, желая состязаться с Данилкой.

— Ну, скажи, Навроцкий!

— Черт!

Класс захохотал. А Полина Федоровна сказала:

— Это слово уже говорили.

— Ну и что же, — ответил Марий, — пусть будет еще один черт.

Потом ребята еще придумывали. Наконец Полина Федоровна сказала:

— Много слов вы придумали, а главное забыли. У каждой буквы есть одно главное слово. У буквы «м» — мать, у «з» — земля, у «п» — папа, у «с» — свобода. У буквы «ч» главное слово — Человек, а потом идут все остальные слова...

## 7

А дома дела день ото дня становились хуже. Деньги, вырученные за корову, давно уже истратили на корм для лошадей и коровы. Самим есть совсем нечего, одно молоко, но его мало. И отец с дядькой Степаном с кем-то из местных мужиков поехали на озеро Тенгиз ловить

рыбу. Рыбы наловили мало, а отец провалился под лед и простудился. Вернулись домой, продали Серка: жить-то не на что.

Отец не вставал, у него была горячка. Он ничего не мог и не хотел делать, жаловался, что по ночам ему домовой на грудь садится. Стал беспомощным, вроде ребенка, капризничал, укорял: «Сманул ты меня, Степан, в эту белую могилу, обнадеил... Так оно и есть: пропадем мы здесь...» Глаза его ввалились, лежал он на кровати все время бородой вверх, не шевелясь. Верно говорят: больной не рад кровати золотой.

Раньше дядька Степан побаивался отца, а теперь перестал. На его укоры отвечал: «У тебя, Проша, своя голова, у меня — своя». Деньги за Серка поделили поровну, и он стал покупать продукты для своей семьи отдельно: у него семья-то меньше, значит, выгодней. Тетка Катерина все чаще ругалась с матерью из-за молока, подозревая ее в обмане. Подоит мать корову, зайдет в избу, а тетка Катерина сразу в подойник заглянет и говорит: «Не отдает она тебе все, или ты не выдаиваешь? Мало что...» И в другой раз сама доила корову, сама делила молоко. И хватало этой доли молока только больному отцу.

Когда сыт — не так мерзнешь. Стужа да нужда — нет их хуже. В большом, неремонтированном дому — хоть собак морозь. Приходят домой школьники и не раздеваются. Поесть нечего — хоть землю грызи. Правда, есть лук еще за прошлогодний, из Яркуля. Мать говорит: кто ест лук, того бог избавит от вечных мук. Данилка чистит луковицы, сильно макает в соль и ест со слезами. Лук такой лихой, откусишь — кажется, горячий уголь в рот взял. Бегом бежит в угол, к ведру с водой, зачерпывает кружкой и хочет загасить огонь во рту. Но после воды еще пуше печет. Васятка тоже ест лук, но не плачет, а даже посмеивается над братом, который стоит с широко раскрытым ртом, и хэкает, чтобы хоть воздухом утишить горечь.

Внутри все горит, а снаружи цыганское «тепло» донимает. Данилке вспоминается, как дедушка рассказывал ему шутку: «Ехали цыгане, стали на постой. Зимой дело было. Из телеги цыганенок выскочил, голый. И кричит отцу:

— Батя, мне холодно!

А отец ему и говорит:

— А ты не знаешь, что делать? Подпояшься и спрячешься за ту вон осину...»

Данилке представляется цыганенок, которому куда холодней было. И, кажется, потеплей в избе стало. Он смотрит на Васятку, как тот дрожит, вылезши из тряпья, и советует ему:

— Ты, Васятка, подпояшься и спрячешься под стол, теплей будет... А в печку не лезь, это нехорошо...



По степным увалам и логам, через окатистые холмы, через бескрайние степи уже текли теплые ветра от далекого Каспия. Плавил снег, не по-зимнему пели на чердаке, в верхушках запотевших тополе. Запахло землей, водой. На Ишиме лед позеленел. А вода подо льдом все настойчивей пробует спиной: крепок ли он, не пора ли скинуть его, вышвырнуть на берега, унести в Иртыш...

Лето одолевало зиму с каждым днем. Весна своими запахами и звуками затуманила голову Степану Петровичу: заныло его сердце в тоске по родным местам, по далекому урману. Сердце душу бережет, оно ее и мутит. А на север уже птица перелетная с гоголом потянулась. И, глядя в ясное небо, пожалел Степан, что нет у него крыльев. Постоял во дворе, люто дернул рыжий клок бороды и решительно шагнул в избу. Сел спиной к окну, вытянув по полу ноги, испытующе поглядел на Прохора Петровича, лежавшего на кровати с безразличием во всем теле.

— Вот что, Проша. Ты как хочешь, а я надумал вернуться в Яркуль. Не по мне эти места, да и не видно, до каких пор без дела будем... На днях собираться стану. Ты как?

— Што я? Мне все одно помирать. Хотелось бы дома умереть. Нету у меня сил для дела. Если возьмешь меня, с радостью вернусь...

— Взять, Проша, можно, да куда все класть? Всех детей на одну подводку не усадишь, и ты тоже нездоров пешком идти. Прямо не знаю, как быть...

Данилка во время разговора читал книгу. Прислушался, похолодел, потом его бросило в жар. Как, уехать? А школа! А Полина Федоровна! Он кинул на стол книгу и, не владея собой, крикнул дядьке Степану:

— Не поеду я никуда! Я в школу ходить буду!

— Не с тобой говорят, варнак, — проскрипел с кровати отец, зло зыркнув на него глазами.

Данилка выбежал во двор, сел на завалинку и стал думать. Как же он уедет? Ведь скоро конец занятий, и он перейдет во второй класс. А тут выдумали — уезжать!

Но о Данилке не думали ни дядька Степан, ни отец. На другой день взрослые договорились продать корову, а на деньги купить еды на дорогу и собираться в путь, как подсохнет и потеплеет. Корову продал сам дядька Степан; вернулся домой, запряг Чалого и сказал, что поедет куда-то поискать пшеницы, чтобы купить хоть немного для посева. Вернулся пустой. Серdito кинул порожний мешок в угол возле печки, плюнул туда же и выругался в ответ на молчаливые вопросы:

— Будь он трижды проклят, этот край! Тут зимой снегу не выпросишь, а не то что пшеницы. Так поедем — не умрем. Ждать нечего.

Он поглядел на Прохора искося: что скажет? Тот промолчал.

Два дня Степан готовил в дорогу телегу, смазывал колеса, укреплял люшны, стойки надстраивал, чтобы побольше нагрузить всего. Где-то все-таки купил овса мешок для коня. А перед самым маем заявил:

— Завтра выезжаем.

Девочки и Гришка уже неделю в школу не ходили. А Данилка ходил, выучил стихотворение, которое хотел на Первомай прочитать.

Перед отъездом почти всю ночь он не спал.

Утром встали, начали собираться в дорогу. Даже отец с кровати поднялся, словно тень, бродит по избе. Данилка взял книжки, которые ему дала учительница, сунул их под пальто и вышел.

В школе еще никого не было, одна уборщица. Увидев Данилку, она сказала:

— Рановато ты, парень, пришел. До уроков еще целый час. Ну, ладно, проходи, садись возле печки, погрейся...

Сел на табуретку у теплой печки, смотрит, как уборщица моет пол, отступая от стола к двери. Она допятилась на четвереньках до двери, толкнула ее задом, выпятилась в коридор. Дверь захлопнулась, и в классе стало тихо-тихо. Только за дверью тряпка глухо шаркала по полу.

Данилку разморило в тепле, захотелось спать. Он сел на свою парту и уснул. Проснулся, услышав, что кто-то прикоснулся к его плечу. Узнал руку Полины Федоровны.

— Данилушка, ты что здесь так рано?

Поднял на нее глаза:

— Не хочу я уезжать, я хочу учиться!

Конечно, ему не это хотелось сказать, а вот что: «Если я уеду, никогда, нигде не увижу вас, Полина Федоровна. Заступитесь! Я могу все делать: дрова рубить, воду носить, в избе убирать. Я могу на улице спать...» Но говорить таких слов он не умел.

— Не горюй, Данилка. Родителям надо подчиняться. А я вот тебе сейчас напишу документ, что ты хорошо закончил первый класс. Когда приедешь на новое место, отдашь в школу. И обязательно учишь, тебе надо учиться, ты умный мальчик...

Она села к столу и стала писать. Написала в тетрадке, вырвала листок, свернула его вчетверо и отдала Данилке. Он взял, а ей протянул книжки:

— Ваши, Полина Федоровна, возьмите...

— Не надо, пусть останутся тебе на память. Дай, я надпишу их...

Когда уезжаете-то?

— Сегодня.

— Ну, пойдем, я тебя провожу немного, пока все ребята сойдутся.

По улице шли молча. Полина Федоровна украдкой поглядывала на



Данилку и замечала, как лицо его постепенно каменеет. Ей захотелось утешить его хоть немного.

— Скажи, Данилка, как тебе дома живется?

Он пожал плечами.

— Мать у тебя хорошая, я знаю. А отец как, не обижает?

— Нет. Но он сердитый у нас.

— Ну, это не беда. Посердится — перестанет. Мой отец тоже был сердитый, а все равно любил меня. Это они от забот такие, от усталости. Ты когда вырастешь, тоже на что-нибудь будешь сердиться. Без этого пока не обходится...

С Полиной Федоровной поздоровались встречные школьники, и она остановилась.

— Давай руку, Данилка! Мне пора в школу. Ты мне можешь письма писать. Я тебе адрес в книжке оставила. И обязательно учись. Желаю хорошо доехать. Иди, тебя уже, наверное, ищут.

Она наклонилась и поцеловала его в губы. Он и опомниться не успел, как Полина Федоровна легонько подтолкнула его в сторону дома и пошла, не оглядываясь. Только головой встряхивала так, будто ей на глаза волосы упали и она хочет их отбросить без помощи рук. Данилка прислонился к столбу у ворот и смотрел ей вслед. На глаза набежали слезы, а потому Полина Федоровна таяла и снова появлялась, но с каждым разом все дальше и дальше...

8

Уже неделя, как Дедковы покинули Акмолу. Стоит жара, какая редко бывает в мае, а ночью еще холодно по-весеннему. Дядька Степан торопится, хочет скорее приехать в родное село, надеясь только на одно: в своем доме и стены помогают. Прохор Петрович почернел лицом, еще больше зарос, но шел упрямо, не поддаваясь болезни; дорога к дому силы придает.

Данилка приглядывался к отцу и замечал, что он как будто подбрел, стал задумчивым. Дядька же по-прежнему был злой и неразговорчивый. Боясь переутомить лошадь, он разрешил ехать на телеге только Васятке. Да и то потому, что мать упросила: Васятка занедужил животом. Все остальные шли пешком. Шли утром, днем и вечером, делая короткие остановки в деревнях, а то и в степи прямо. Мать испуганно и умоляюще поглядывала на дядьку Степана: боялась, как бы Васятку не прогнал с телеги, как бы не бросил всю их семью. Детей кормить нечем, и она в попутных деревнях выпрашивала кружку молока, картошину какую. Но подавали не часто: красна весна, да голодна. Вслед за Васяткой заболела Варюшка, она вся горела: наверное,

простудилась ночью, когда останавливались на отдых и спали на земле. Ее тоже пришлось усадить на телегу. Васятка то и дело просился с телеги на землю. Дядька Степан злился еще пуще, потому что приходилось часто останавливаться. Он матерно ругался и орал: «Дернул меня леший спутаться с калеками! Пособил чужой нуже, да себе вышло хуже».

И мать сказала Васятке: «Ты, сынок, не залезай пока на телегу. Иди пешком. Как захочешь на двор, так и садись. А то видишь, дядя Степан сердится. Мы тебя с отцом понесем маленько, когда шибко устанешь».

Васятка от боязни не стал перечить. Он никогда не капризничал, смиренный был и терпеливей большого. Но его с каждым часом все больше мучил кровавый понос. Отец с матерью по очереди несли его на руках, но быстро уставали и снова опускали на землю.

Данилка шел, не отставая, избил в кровь ноги, обутые в большие сапоги. Теперь он сапоги снял и шлепал босыми ногами по пыльной дороге. Но больнее ему было смотреть на Васятку, который так ослабел, что его головка склонялась то на одно, то на другое плечо. Данилка старался крепче придерживать братишку под руку. Чтобы не отстать и легче было идти, мальчишки брались руками за телегу. Но дядька Степан уже не знал края злости на эту обузу. Ему казалось, что мальчишки, держась за телегу, умаляют ход, отодвигают прибытие в Яркуль. Он заходил назад и молча стучал кутовищем по мальчишечьим пальцам, и те убирали руки. Даже Гришка боялся браться за телегу. Мать заметила это и заплакала. Видя, что Васятка совсем изнемог, Варюшка бредит на телеге, она подошла к отцу:

— Проша, что же делать-то? Погубим мы детей. Варюшка уже не в себе и Васятка плох. Ему бы маленько передохнуть. Ты, Проша, сядь с Васяткой и Данилкой, посидите, а потом догоните нас. Поди, Степан скоро на отдых остановится. Я бы осталась, да боюсь за Варюшку. Ты себя как чувствуешь?

— Лучше некуда. В глазах уже все колесом вертится. Пожалуй, верно, надо передохнуть. Ты иди, я останусь с ими.

Мальчишки только этого и ждали. Отец сошел с дороги на траву, сел, рядом плюхнулись Данилка с Васяткой. Вскоре всех троих сморил сон. Жарко палило полученное солнце, и небо над степью было белым от зноя...

— Вставай, идти надо, — услышал Данилка голос отца. Огляделся. Васятка лежит, кусает пересохшие губы, глаза его закрыты. Отец и его разбудил, поставил на ноги. Васятка стоит, качается, глаз не открывает, просит: «Пить хочу, водички...» Отец взял его на руки, понес. Через некоторое время остановился, опустил на дорогу, взялся рукою за грудь.

— Ох, сынок, чижолый ты! Пойди маленько ножками, у меня дух зашелся...



Васятка попробовал идти, но его ноги ступали куда попало, не слушались. Тогда Данилка взял на руки братишку и понес, стараясь легче хромать, чтобы не трясти больного. Отец продолжал стоять, держа рукой за грудь. Данилка повернулся, глянул в его глаза. Он никогда не видел такими отцовские глаза: они о чем-то просили, в них не было, как прежде, ни злости, ни холода.

«Наверно, подождать просит», — подумал Данилка, остановился, усадил Васятку на траву.

Отец шагнул раза три, сел в пыль и слабо поманил рукой: иди, мол, сюда. Данилка подошел к нему. Отец, почти не раскрывая рта, заговорил:

— Сынок Данилушка! Плох твой тятка, не могу больше... Вроде бы в нутре что отпало... Послушай, сынок: надо догнать подводу или хотя бы до деревни дойти. Васятку надо к матери. Иди. А я маленько отлежусь и догоню вас...

Данилкино сердце сжалось, к горлу прихлынули слезы. Но он сдержал себя. Взял Васятку на руки и пошел.

Было уже за полдень, но жара не унималась. Васятка стонал и просил пить.

Данилка то нес его, то упрашивал идти ножками. Тот слушался, шел сам, а Данилка крепко поддерживал его под руку.

Впереди показалась вода. Данилка почувствовал, что и у самого все во рту пересохло, язык колючий, присыхает к нёбу и его больно отрывать.

— Потерпи, Васятка, вон там водичку видно, скоро дойдем. Я тоже пить хочу.

Услышав о воде, Васятка зашагал быстрее. Долго они шли к воде, но она убегала от них. Они не знали, что это было марево, и шли, шли... Дорогу перебегали суслики, останавливались у своих нор, поднимались на задние лапки и с любопытством смотрели на двух мальчишек, словно желая спросить: «кто такие? Куда одни идете?»

Но вот на горизонте показались тополя, а затем избы стало видно. Васятка все чаще и чаще просил присесть, передохнуть. На окраине стоял заброшенный сарай из дерна, с клочковатым прошлогодним бурьяном на крыше. Васятка увидел густую тень возле стены и запросился туда: «В холодок хочу, жарко!» Данилка уговаривал его потерпеть, дойти до деревни, но тот сел на землю и заплакал. Пришлось уступить. В тени Васятку начало трясти, будто замерз. Снова вытащил его на солнце, но тот опять уполз в тень. И Данилка понял, что братишка совсем немощ, до деревни с ним не дойти.

— Побудь здесь, — попросил он, — а я сбегаю вон в те дома, молока тебе принесу.

Васятка в ответ стал бормотать строчки стихотворения, которое разучивали в Акмоле Данилка с сестренками:

— Что ты спиш, музычок?  
Ведь весна на дворе...

Данилка подумал, что ему стало лучше, и сам повеселел, вприпрыжку побежал в деревню. Но в какой двор ни заглядывал — в каждом собаки, а хозяева не выходили.

В одном дворе без ворот собаки не оказалось. На крыльце сидел старик с белой бородой и такой же белой головой. Он крестил в миске вареные яйца и кормил малюсеньких цыплят. Старик поднял спокойные глаза и спросил:

— Чей будешь?

Данилка не знал, что ответить, как попросить молока. Потом осмелился, видя доброе лицо старика.

— Васятка молока просит.

— Какой такой Васятка?

— Наш. Он маленький, совсем ослаб. Он там, возле сарая, — и махнул рукой за дом.

— Ну, если совсем ослаб, тогда поищем, может, и найдем чего-нибудь...

Старик подумал, что это один из тех беспризорников, которых разбросали повсюду война и голод. Их много бродило по дворам с протянутой рукой. В деревне загодя знали, что может сказать малец: «Дяденьки и тетеньки, дайте кусочек хлебушка! У меня нет ни отца, ни матери...» И люди подавали, потому что это была правда...

Старик вышел с кринкой.

— А во что тебе молочко-то?

— Не знаю.

— Ну, ладно, бери с посудинной. Попьет твой Васятка, занесешь. Сступай с богом!..

Нести молоко было неудобно: мешала хромота. Молоко выплескивалось, и Данилка, жалея каждую каплю, шел медленно, держа кринку на вытянутых руках, принаравливая шаг к плесканию молока.

Приковылял к сараю, к тому месту, где оставил брата. Васятки не видно. Обошел вокруг — нету. Стал бродить по бурьяну, который рос поблизости, громко звать, не откликается. Наконец заглянул в сарай. Там, на куче старого, высушенного навоза лежал Васятка лицом вниз.

— Ты чего это сюда уполз? А я тебя ищу, ищу... На вот, молока попей!

Васятка молчал. «Должно быть, спит», — решил Данилка и стал трясти его за плечи. А когда потрогал Васяткин лоб, почувствовал, что он



холодный, такой же холодный, как у деда, когда тот лежал в гробу, а Данилка подходил прощаться с ним. Побелевшие руки Васятки сжимали по пучку пыльной соломы...

Живой Васятка был не такой тяжелый. А теперь он его с трудом поднял, хотел усадить, как бывало, на правую руку. Но Васяткино тело стало непослушным, головка не склонялась на Данилкино плечо, а руки не хотели обвивать шею. Данилка вынес братишку из сарая и направился в деревню. От слабости дрожали ноги, руки онемели, но он знал: если положит Васятку — больше поднять не сможет.

Уже заходило солнце. Деревенские возвращались с полей. Подвода обогнала Данилку и остановилась.

— Садитесь, ребята, довезу! — приветливо предложил бородач. Когда Данилка поближе подошел к телеге, тот вскрикнул:

— Мальчонка никак мертвый?!

— Помер он, — ответил Данилка, стоя возле телеги.

Мужчина прыгнул, расправил одежду, на которой сидел, и, взяв Васятку на руки, осторожно, как живого, положил его на телегу, прикрыл одной полой. Сзади посадил Данилку.

— Чей такой будешь? Братишка твой, что ли?

— Васятка это. Живот у него болел...

— А тятка с мамкой иде же?

— Не знаю. Отец отстал, должен по этой дороге идти, а мамка вперед с подводой уехала... Из Акмолы мы ехали.

— Куды?

— В Яркуль, домой.

— Это иде такая деревня? Что-то не слышал...

— Далеко...

Сейчас только, глядя на этого крепкого, доброго дяденьку, Данилка почувствовал всю свою немощность. И ему захотелось, чтобы этот незнакомый человек не прогнал его, помог ему. Он, наверное, все может, не как отец.

Мужчина шел по улице рядом с телегой и говорил встречным: «Зайди-ка, Григорий, на минутку, дело есть», «Петька, зайди ко мне, поговорить надо». Въехал во двор, на ходу постучал в окно.

— Луша, сходи позови бабку Настенку! Тут вот мальчонка мертвый, обмыть его надобно, по-человечески чтобы... Сбегай!..

Сошлись мужики, бабы. Пришла старуха, видать, это и была бабка Настенка.

Она уверенно направилась к телеге, открыла Васятку, перекрестилась и скомандовала:

— Несите его за сарайку, на лавку, я там его обмою!

А Данилку хозяйка позвала в избу, заставила умыться и посадила

есть со своими ребяташками, которые глядели на него во все глаза и плохо ели. Хозяйка клала руку на плечо Данилке и говорила:

— Ты ешь, не смотри на них, они не голодные. А вы тоже ешьте! Чего устались? — не очень сердито говорила она своим детям.

Данилка ел и слышал, как где-то, наверное, в огороде, за сарайкой, зазвенела пила, застучали топоры и молотки. Это делали гроб для Васятки.

В избу вошел хозяин, обратился к Данилке:

— Так чего же, сынок, твоего отца долго не видеть? Он что тебе сказал: иди, я догоню?

— Да.

— А для чего он отстал? Где?

— На дороге, он больной...

— Так-так-так, — уже себе говорит хозяин, о чем-то думая. — А ты помнишь то место, где отец остался?

— Помню.

— Тогда поехали.

Он взял с собой еще двоих мужиков и проехали на повозке за деревню, куда указывал Данилка. Но уже стемнело, и ничего нельзя было увидеть ни сбоку, ни на дороге. Проехали несколько верст, повернули назад. Вздохнув, хозяин молвил:

— Так оно и бывает: потерять легко, да найти трудно... Эх, жизнь наша!..

Утром хозяин разбудил Данилку:

— Вставай, парень, вставай! Братца хоронить надо. Все уже готово.

Данилка поднялся, увидел на лавке, возле окна, маленький белый гробик. В нем с закрытыми глазами, с руками, скрещенными на груди, лежит Васятка, спокойный, бледный, будто спит. Возле гробика сидит бабка Настенка. Она подозвала Данилку:

— Подойди, поцелуй братца, сердешный.

Он поцеловал Васятку в холодные губы. Знал, что надо плакать, но слез не было. Ему было только страшно. Бабка гладит его по спине, плачет беззвучно и приговаривает:

— Всяк о себе, а господь обо всех думает. Вот и прибрал сиротку.

Схоронили Васятку на небольшом деревенском кладбище в степи. На маленькую могилку поставили маленький крест, привязали к нему полотенце. Прямо с кладбища мужики поехали на поле, а Данилке хозяин сказал:

— Ты иди к нам, поиграй до вечера с нашими ребятами. А вечером поговорим, как быть.

Данилка побрел тропинкой к дороге, по которой вчера пришел в деревню. Шел медленно, задумчиво. Ему не верилось, что он больше



не услышит Васяткиного голоса, не увидит его робких глаз, его невеселой, застенчивой улыбки.

Умирая, Васятка, наверно, обижался, что Данилка так долго ходит за молоком. И дедушка, который дал молока, тоже считает его теперь обманщиком: ведь кринка осталась в сарае за деревней... А где сейчас отец, мать, сестренки, где книжки, которые подарила Полина Федоровна? Представил класс, пустые места за партами, где сидел он сам, сестренки и Гришка. А может, занятия уже закончились? Вспомнил Мария Навроцкого. Ему представилось, что Марий все знает о нем и радуется его горю, приплясывает и выставляет язык.

Не заметил в задумчивости, что взял наискосок и удалился далеко от деревни, пока вышел на большую дорогу. Она вилась среди полей на которых густо вставали молодые хлеба, к дороге подступали прошлогодние и ионешние ковыли. Было много цветов. В траве перекликались перепела. Земля благостно дышала, как кормящая мать, отдавая свою силу и соки подрастающим травам и хлебам.

И только Данилке не было весело в этой поющей и звенящей шири. Идя к деревне, часто останавливался, смотрел назад, на уходящую к солнцу дорогу: не покажется ли отец? Может, он тоже лежит где-нибудь и умирает? Но дорога молчала и была пуста до самого горизонта.

А вот и сарай, где умер Васятка. Данилка свернул к нему. Кринка стояла у дверей. Молоко в ней прокисло, поверху ползали мухи. Данилка вылил молоко и пошел в деревню. Остановился у колодца, достал ведром воды, вымыл кринку и понес ее к дому без ворот. Старик, как и вчера, сидел на крыльце, кормил цыплят...

9

В деревне Данилка застрял надолго. Люди здесь оказались добрыми: то в один дом позовут, то в другой, накормят, спать оставят. Ночь ночевать — не век вековать. Никто не спрашивал фамилию, но все знали, что зовут Данилкой. А ему все одно было: голодного сади хоть за порог, дали бы пирог.

Бывало и так. Зайдет в чей-нибудь дом, с ребятами порисует, книжки почитает, игорку какую придумает. Взрослые на поле, возвращаются поздно. Данилка с ребятами поест, чего родители оставили, и спать с ними на печку заберется. Про тайгу рассказывает, как с дедом туда ходил, у костра ночевал. Придут хозяева домой, посмотрят: дети спят. Приглядятся — заметят, что на одну ногу больше торчит на краю, и говорят: «Да это Данилка хромой тут. Пускай себе спит. Он худого не сделает, а ребят забавлять мудрен. Пускай спит... Хоть и убого, да от бога...»

Бывало, деревенские даже сердились друг на друга, если у одних Данилка три дня побыл, а к другим не зашел. Получалось, что он был как бы ничейный, всей деревни. Поэтому никто и не думал навсегда оставлять его у себя, никто не решался командовать им. Деревенские ребята, даже постарше, уважали его. Если Данилка сказал — так и было тому. Заварится драка — водой не разольешь, а он одним словом разнимет драчунов.

Так и перелетовал в деревне. Подходила осень. В одном доме ему подшитые валенки дали, в другом — шапку, в третьем — пальтишко. Хоть и старенькое, но можно носить, зима не страшна.

Но однажды, под осень, приехал в деревню человек в кожанке, стал разыскивать беспризорников. Чуть не все дворы обошел, пока толкнулся на Данилку. Приехавший сказал, что отвезет его в детский дом, в Омск, там он будет учиться. Хоть и жаль было покидать хороших людей, но пришлось ехать. Утешало то, что он будет учиться. А учиться ему велела Полина Федоровна.

В детдоме было хуже, потому что там каких только не было пацанов. И почти все драчливые. Попривыкли некоторые бродяжничать, таким скучно в детдоме, хотя там кормили, одевали. А новичка каждый пацаненок старался под власть взять.

При Данилке брали «под власть» мальчишку, которого вместе с ним привезли в детдом. Мальчуган лет четырнадцати приставил к животу новичка самодельный нож:

— Доброволец?

— Нет, крутнули.

— Ну, тогда еще ничего. Марафета есть?

— Нету.

— Щипаешь или по-большому?

— Попеременке.

— Сойдет. Сегодня на дело пойдем.

И Данилке задавали такие же вопросы, но он не мог ответить на них, и ему за день нащелкали нос так, что он вспух. Даже семилетние щелкали.

Вечером комнату, в которой поселился Данилка, закрыли на ключ. Пока еще не совсем стемнело, пацаны кидали друг в друга стулья, подушки, играли в самодельные карты, курили вонючую махру. А как совсем стемнело, выключили свет, открыли окно, и человек пять-шесть спустились по веревке со второго этажа вниз. Остальные остались и продолжали играть в карты, а кто и спать лег.

Данилка сидел на своей койке, не зная, что ему делать. Все мальчишки говорили между собой, смеялись, ругались совсем непонятными словами. Имена у ребят странные: Зяма, Буба, Чеча... Так и не мог



уловить Данилка, о чем они все-таки говорят. Ему показалось, что каждый из них куда вредней Мария Навроцкого.

Нет, он здесь жить не сможет, убежит. Лучше в деревню какую-нибудь. Или еще лучше в Акмолу, к Полине Федоровне. Там ведь тоже есть детдом, и если он будет жить там, то Полина Федоровна в обиду не даст. В Яркуль поехать — на чем, с кем? И там ли мать с отцом? А в Акмолу, наверно, из Омска добраться легче...

Вдруг что-то мокрое ударило его по лицу. На койку упала большая арбузная корка. В окно, видать, влетела. Услышав шлепок, все глянули на Данилку, а потом кинулись к окну. Свет снова выключили. И пошло дело! Из темноты через окно в комнату стали затаскивать в ведре на веревке арбузы. Оказывается, недалеко от детдома была пристань. Это туда и ходили на «дело» пацаны.

Арбузов десять принесли. Делили щедро, по-братски, весело, разбудили даже тех, кто спал. Корки кидали каждый со своего места в открытое окно, и кто-то разбил стекло. Хотя Данилка корки не кидал, набросились на него: «Ты, хромой, окно раскокал, отвечать будешь. Чего зенки пялишь, обалдуй? Разбил, так и скажи, а то поутрянке измордасим...»

Но утром койка хромого оказалась пустой. Данилка в это время был уже на привокзальной площади. Сразу в вокзал входить побоялся, а может быть, еще и не знал, зачем он сюда пришел. Сел на скамейку с высокой спинкой — отдохнуть, оглядеться, подумать.

Только задумался, как почувствовал: с головы его сама собой снялась шапка, легко и быстро. Схватился рукой за голову — нет шапки. Оглянулся — никого. За высокой спинкой скамейки — кусты с уже пожелтевшими мелкими листочками. Вдруг из-за скамейки стала высываться его шапка, а потом показалась чумазая рожа и качнулась к нему.

— А вот она, я! Гы-гы-гы! А ты меня искал. — Это был мальчишка лет четырнадцати.

От неожиданности Данилка отпрянул назад, но незнакомый уже поднялся во весь рост, поймал его за воротник и усадил на скамейку. Потом перемахнул через спинку скамейки, как птица, и сел рядом. На нем огромный грязный ватник с обтрепанными рукавами. Парнишка был бос, но сразу и понять не поймешь — так черны его ноги. Данилка поглядел ему в лицо: ничего страшного, даже что-то доброе и веселое в глазах.

Пацан снял со своей головы шапку и отдал ему.

— На, она мне не нужна... У меня воротник вон какой. Как зовут-то?

— Данилка.

— А меня — Кишкопор. Понял? Шамать хочешь?

— Нет, не шибко.

— Ну, раз не шибко, значит, хочешь.

Кишкопор полез за пазуху и достал оттуда полбуханки. Отломил большой кусок.

— На, жуй. Утрешний!

Хлеб был теплый и мягкий, такой, каким раньше угощала его бабка в Яркуле.

— Ты откуда? — спрашивает Кишкопор.

Данилка неуверенно ответил:

— Из Акмолы.

— Это в Киркрае которая? Знаю.

— А ты?

— Я? Я с того свету. Фриканец я. Слыхал такую Африку? Не слышал? То-то! Негер я, понял? — Он пошлепал черными ногами по земле, поболтал ими в воздухе. — Вишь, ноги какие. У нас там у всех такие. А оттуда я сбег.

— А чего сбег?

— От сплуатации. Понял? Хочу комиссаром быть.

— А ты грамотный?

— Не. Зачем мне грамота. Врагов бить, какая грамота те.

— Каких врагов?

— Ну, каких — всяких. Мало что ли их... А ты куда?

— В Акмолу бы надо. Учиться буду. Я уже одну зиму учился.

— Считать умеешь?

— Могу.

— До сколько?

— Не знаю...

Кишкопор полез за пазуху, пошарил там и стал вытаскивать бумажные деньги. Доставал и клал Данилке на колени.

— Считаю, половина — твои.

Данилка не успевал следить за рукой Кишкопора, которая быстро ныряла за пазуху и выныривала обратно. Но тут на привокзальной площади появился милиционер, он шел прямо на ребят. Кишкопор быстро сгреб деньги и спрятал их за пазуху. Схватил Данилку за рукав, дернул со скамейки:

— Чешем отсюда, а то подловит!

Данилка быстро зашкандылял за ним, ничего не успевая сообщить. Вбежали в вокзал, пробрались среди людей, лежащих и сидящих, вышли на перрон. Свернули к виадуку. Под лестницей, ведущей на виадук, было что-то вроде будки, туда и уволок Кишкопор Данилку, удивленно спросил:



- Ты что, хромой, что ли?  
— Хромой... С рожденья это.  
— Болит?  
— Нет.

— Тогда тебе надо учиться. Булгахтером будешь работать. Булгахтера все хромые и горбатые. Ты тоже беспризорный?

- Какой?  
— Беспризорный, говорю. Отец с матерью у тебя есть?  
— Есть, да потерял их...

Кишкопор сел на кучу старых веников и снова начал вытаскивать из-за пазухи деньги, складывал их на землю.

— А денег у тебя на дорогу хватит?

— Денег? У меня денег вовсе нет.

— Эх, ты! Это я без денег могу проехать куда хошь, а ты же не можешь.

Кишкопор сложил деньги стопкой, придавил их к земле ладошкой, а потом взял в руку.

— На вот, хватит тебе на дорогу. Спрячь за пазуху, да не растеряй. Хотя, погоди, мы не так сделаем.

Он отвернул полу своего пиджака, оторвал карман. Получился маленький мешок. В него втолкнул деньги.

— А теперь держи, так не растеряешь.

Данилка впервые в жизни держал в руках деньги. Ему еще никогда не приходилось покупать что-либо. Он не знал ни счета, ни цены деньгам, взял мешочек спокойно, из вежливости или робости. Но когда Кишкопор привел его на вокзал покупать билет, увидел, что билеты дают за деньги, и понял: без денег до Акмолы впрямь не доехать.

Кишкопор попросил мужчину, стоящего в длинной очереди за билетами:

— Дяденька, возьмите билет до Акмолы, вот деньги.

— Это тебе, что ли?

— Нет ему. Он беспризорный и хромой. Возьмите, дяденька!

— А тебе ведомо, что до Акмолы поездом не доедешь? В Петропавловске надо слезать, а там — на подводе.

— Ну, возьмите до Петропавловска.

Данилка молчал, прячась за Кишкопора. Потом стал смотреть на мужчину, которого уговаривал Кишкопор. Из-под серой шляпы дяденьки выглядывала длинная грива. Одет он был в рясу до пят. В лице его что-то знакомое. Как будто видел где и никак не припомнит. Особенно знакомыми показались белые, как у поросенка, ресницы...

— Ну что же, пойдём на поезд, уже скоро отправление. Я ведь тоже до Петропавловска.

Дяденька в рясе вывалился из очереди и выволок за собой большой кожаный чемодан и рогожную сумку. В том месте, где он стоял, сразу образовался провал и в него с шумом хлынули люди.

Кишкопор подтолкнул Данилку:

— Вали с ним. Это поп, кажись. С ним доедешь. Я бы его в два счета обшманил, да на тебя подумает.

Данилка с новым знакомым с трудом пробилась в вагон и устроилась на лавке у окна. За окном мелькнула кудлатая голова Кишкопора. Он увидел Данилку, что-то крикнул ему и, помахав рукой, нырнул в толпу. Стало грустно.

— Как зовут-то тебя, сынок? — спросил поп.

— Данилкой.

— Значит, раб божий Даниил?

— Данилкой меня зовите.

— Вот уж истинно беспризорное дитя. Даже не знаешь, что мы рабы божьи? Ты раб, а я слуга господина нашего всемилостивого. Меня зовут отцом Александром, а не дяденька я. Запомнил? Отец Александр. Так и зови.

Данилка из вежливости согласно кивал головой, а сам думал про Кишкопора. Почему это он дал ему денег, зачем беспокоился о нем? И почему с хорошими людьми приходится так быстро расставаться?

— Значит, в Акмолу едешь, Даниил? Знакомое место. Жил я там, а теперь волею господина нашего в Петропавловске нахожусь... О, я слышу у тебя во чреве, Даниил, гудение! Есть хочешь? Давай-ка сумку, поедим, чего бог послал.

Отец Александр достал из рогожной сумки белый хлеб, колбасу, несколько огурцов, разложил на коленях. Данилке дал хлеба и огурец.

— Ешь, Даниил, благодари господина. — Сам он перекрестился, попил чего-то из черной бутылки и тоже начал есть.

— И давно ты осиротел?

— Нет, недавно.

— Ну, а дома ты помогал родителям? Что ты умеешь делать?

— Могу бревна строгать, воду носить, печку топить.

— О, это похвально и богу угодно!..

В Петропавловск приехали поздно вечером. Было холодно, накрапывал дождик. Отец Александр нанял на станции извозчика, поставил в пролетку чемодан и сумку, сел сам. Данилка стоял около, не зная, что ему делать дальше. Когда кучер тряхнул вожжами, отец Александр взял его за плечо.

— Пойдите! — И, повернувшись назад, сказал: — А ты, Даниил, куда же теперь?.. Не знаешь? Садись-ка со мной, а там — даст бог день, даст и пищу.



Данилка взобрался на пролетку. Долго ехали темной улицей по тряской булыжной дороге. Свернули в еще более темный переулок. Остановились возле высокого забора. Отец Александр постучал в калитку, покрутил кольцо щеколды. Открыла высокая худая женщина. Через двор тянулись широкие полосы от освещенных окон. К одному из них кто-то проткнул изнутри. Данилке показалось, что это мальчишка.

Через темные сенки прошли в комнату. В проеме двери, ведущей из прихожей в горницу, стоит Марий Навроцкий! Он долго что-то сообщал, а затем ощерился и пошел навстречу Данилке.

— Хромой! Откуда ты взялся? — И хлопнул Данилку по плечу, осматривая с ног до головы. — Комиссаром, поди, заделался? Где это вы, папаня, встретили его? Это же Данилка хромой из Акмолы. Любимчик Полины Федоровны.

— Вон как?! — удивился отец Александр, раздеваясь. Он пристальней стал смотреть на Данилку. Тот стоял, опустив голову. — Ладно, господь всех простит, он еще мал, да к тому же и убог... Раздевайся, Даниил. Давайте помолимся да за ужин. — Отец Александр стал на колени, поманил к себе Данилку. — Ты, поди, и молиться не умеешь. Становись на колени и делай, что я делаю. Господь избавит тебя от искушения, агнец ты неразумный.

Данилка стал креститься. Марий стоял рядом на коленях, поглядывал на него и высовывал язык. Потом ударил Данилку по руке:

— Дурак, разве левой кто крестится! Правой крестись, да при том кланяйся... Не так, хромой, тремя перстами надобно...

За ужином Марий брал длинными пальцами лапшины и кидал их в Данилкину тарелку, мешал есть. Высокая худая женщина — она была, видать, чужая в этом доме — неодобрительно поглядывала на Мария, хмурилась, но молчала. А отец Александр ничего не замечал, глядел в свою тарелку и чему-то улыбался.

Спать Данилке женщина постелила на сундучке. Он лег, закрыл глаза, нашарил на животе мешочек с деньгами, вспомнил Кишкопора. Уже засыпать стал, как вдруг что-то прыгнуло ему на лицо и сильно оцарапало. Открыл глаза: в прихожей еще горел свет. Рядом с лицом сидел серый котенок. Слышно было, как в горнице, за дверью, хрипя и прыская, смеется Марий. Это он бросил котенка. Данилка прижал котенка к себе и снова закрыл глаза...

Не сообразил Данилка, где и как найти подводу, чтобы уехать в Акмолу. Ни за что не остался бы в доме отца Александра, если бы не та добрая женщина, по имени Арина, которая прислуживала в по-

повском доме. Она подолгу молится, помогает отцу Александру в церкви, а больше работает по хозяйству: трех коров кормит и доит, за свиньями ухаживает, в доме прибирает.

Марий ходил в школу, во второй класс. Дома отец заставлял его учить «Отче наш», «Верую»... Данилка, хоть и не старался, уже знал молитвы наизусть, а Марий путал одну с другой, перевирал слова. Отец Александр, видя сообразительность Данилки, его превосходство над Марием, злился. После ужина намеренно громко говорил: «Возблагодарим же господа нашего за то, что дал нам пищу!» От него все время пахло водкой. Однажды он сказал:

— Так вот, Даниил, дело какое. В святом писании сказано: «Не трудящийся да не ест!» Даже безбожник Ленин согласен с этим. А ты ешь, но не работаешь. Уразумел? Даст господь — доживем до утра, и ты начнешь добывать хлеб в поте лица своего.

Наутро тетка Арина разбудила Данилку чуть свет:

— Вставай, отец Александр велел, чтоб ты коров пас. Общественный пастух отказался пасты. Да это недолго будет, до снега...

Она дала ему торбочку с хлебом и бутылкой молока, помогла выгнать коров за окраину.

Уходя посоветовала:

— Вон сколько робят тут коров своих пасут, иди к ним.

В самом деле, поодаль сгрудились кучкой мальчишки, не обращали на него внимания. Данилка к ним не подошел, смотрел со стороны, как они борются, швыряют друг в дружку комьями земли. Позже к ним подошли еще ребята, постарше, уехали в кружок.

Но вот один, самый старший, лет шестнадцати, — его все звали Грязным, — поднялся, подошел ближе к Данилке и крикнул:

— Эй, хромой, давай поближе к нашему шалашу хлебать лапшу! Коровы поповские?

— Ага.

— Подходи, подходи! Садись, побури с нами. Не умеешь — научим, не хочешь — заставим. Учим до трех раз, а потом играем поправде. Брысь, Мазя, отсюда, дай место пацану свеженькому.

Грязный дал подзатыльник одному из игроков. Тот вывалился из круга, огрызнулся. Данилку силком усадили в круг, сунули карты в руки. Он, конечно, не видел за своей спиной ни перемигивания, ни хитрых улыбок. Грязный начал объяснять игру — «буру», но понять было трудно. Сыграли два раза. У Данилки выхватывали карты из рук, подталкивали: «Не эту, балда! Вон ту. Ух, ду-р-рак, продуваешь!» Но Грязный цыкал на всех и говорил: «Ничего, Хромой, получается. А вы не мешайте человеку».

Трижды сыграли «понарошке».



— Теперь взаправду, — говорит Грязный. — Что ставишь? Groши есть?

Данилка вспомнил про деньги, которые ему дал Кишкопор. Он носил мешочек с собой, приколотый к рубашке булавкой. Но не признался. Грязный предложил:

— Давай на сидор! Что у тебя там? Молоко и хлеб? Пойдет! Я ставлю... — он подмигнул болельщикам, — была не была, ставлю вот этот палец! Проиграю — сам отрезешь. — И бросил рядом с картами финку.

Данилка запротестовал было, но на него грубо зашикали и еще плотнее окружили.

Начали играть. Грязный притворно ойкал, пугался. «Ну, дает Хромой! А еще говорил, не умеет. Пропадет мой пальчик...» И он нежно целовал свой «заложенный» большой палец.

Но проиграл Данилка. Сначала проиграл хлеб, потом бутылку с молоком. Больше проигрывать нечего.

— Давай под вертухало играть, — снова нашелся Грязный. — Я проиграю — твоих коров вертухаю, ты проиграешь — моих вертухаешь. Понял?

Пять или шесть раз проиграл Данилка. Грязному наскучили легкие победы, и он, зевая, сказал:

— Ладно, хватит. Гони сюда твой сидорок, а сам сбегай вон тех коров поближе заверни.

И, полулежа на боку на разостланном пиджаке, стал есть Данилкин хлеб и молоко. А Данилка побежал «вертухать» коров. Как потом оказалось, коровы были вовсе не Грязного. А околачивался он днем за городом, скрываясь от милиции, вымогая у ребятишек, что можно...

Было начало октября, но погода установилась теплая, солнечная. Выгоняя коров, Данилка как-то нашел в углу сарая несколько растрепанных книжек. Выбрал одну, в которой буквы были покрупней, и сунул ее за пазуху. На поле не стал подходить к пацанам, уселся на солнышке, на бровке канавы, и достал свою находку. Это были рассказы Льва Толстого для детей. Он увлекся чтением и не заметил, как Грязный со своей компанией подошел к нему.

— Вот молодец, Хромой, — заговорил Грязный, поводя пальцем под носом, — книжки малый читает! — Он вырвал у Данилки из рук книжку, послынявил указательный палец, стал листать страницы. При этом брезгливо морщился: — Чепуха это, а не книжка. Хочешь, мы тебе дадим получше. Песенки у нас имеются. Хочешь?

— Хочу.

— Завтра будет.

На следующий день Грязный вручил Данилке тетрадку с толстыми

корочками, в которой крупными печатными буквами были записаны стихи и песни. На первой странице стояло: «Прошу читать, листов не рвать».

— Видал, о чем говорится? — указал Грязный пальцем на эту надпись. — Смотри же! Даем как человеку. На два дня даем. А теперь пойдем в наш табор. У нас веселей, чем у твоего отца Александра в квартире.

Сегодня карт не было видно. На полосатом платке теснилась разная снедь, стояла водка. Рядом горел костер. Из кипящего котелка торчали гусиные ноги, пахло мясом. Было здесь несколько незнакомых подростков, видно, дружков Грязного. Они загадочно говорили о чем-то, чего Данилка не мог понять. Одно можно было уловить: этой ночью пришлось поработать и им повезло. А теперь они празднуют победу. Гуся вынули из чугуна, положили на ржавый лист жести, разодрали руками на куски. Из золы повывакали печеную картошку и уселись вокруг платка.

Грязный налил в медную кружку водки, раскланялся и сказал:

— Уважаемые товарищи! Я поднимаю этот кубок за победу. Как говорит один мой знакомый киргиз, будем здравствовать!

Пили по очереди из одной кружки. Данилка водку пить не стал, но отказаться от куска гусятины и печеной картошки не смог. Было весело и тепло от костра, от ощущения равноправия среди пирующих. Грязный отвернулся от «стола», отбросил в сторону чье-то пальто и обнажил лежавшую на земле гитару. Взял ее, забренчал и запел, полускрыв глаза:

— Течет речка по песочку,  
Бережочки моет,  
А молодой,  
Ох, молоденький цыганок  
Начальника просит:

— Ой ты, начальничек, начальник,  
Отпусти на волю,  
А то соскучилась,  
Ох, соскучилась родная,  
Отдалась другому...

В песне говорилось о том, как злой начальник не отпустил на волю цыгана и...

— Умер цыган, умер цыган,  
Умерла надежда...



Что-то тревожное и тайное было в песне, словно в дедовых сказках, слышанных у таежного костра.

— Гроб несут, коня ведут,  
Конь головку клонит.  
А молодая,  
Ох, молодая цыганочка  
Цыгана хоронит...

Только одно было непонятно: в начале песни говорилось, что цыганка забыла своего цыгана, а теперь идет за гробом и плачет. Значит, притворяется...

Грязный пел и другие песни, такие же загадочные и грустные. И сам он сегодня не был таким злым и насмешливым, как в первые дни. Вот и тетрадку с песнями дал почитать. А в ней та самая песня про цыгана и много других. Данилка сегодня же прочитает, а завтра вернет...

На следующее утро Данилка вынул из-под подушки тетрадку с песнями, взял с собой в поле, чтобы вернуть Грязному. Тот был таким же добрым, как и вчера.

— Принес, вот она! — сказал Данилка.

Грязный взял тетрадку, отошел в круг вчерашних незнакомых ребят, о чем-то с ними пошептался. Потом подозвал Данилку.

— Ты что ж, Хромой, наделал? Мы тебе как человеку дали, а ты псом оказался. Зачем листы из тетрадки выдрал?

— Я не выдирал, правда не выдирал...

— А это что? — Грязный раскрыл тетрадку в том месте, где торчали концы вырванной страницы. — Самую лучшую песню выдрал. Знаешь, что за это причитається? Вот!

Он показал Данилке финку. Тот заплакал, посмотрел вокруг, ища защиты и пощады, но ни в чьих глазах не увидел сочувствия. Его плотно окружали незнакомые.

— Ну вот что, — продолжал Грязный, — ты, кажется, живешь у попа, его коров пасешь. Так вот, у попа водятся денежки. Сам он тебе не даст, но ты можешь слямзить. Если не принесешь — вот! — Грязный снова погрозил финкой.

Было страшно и обидно: не вырывал он листы из тетрадки и никто другой не мог вырвать. Он тетрадку прятал за пазухой, а на ночь — под голову. Ее даже Марий не видел. А может, и вправду украсть деньги у отца Александра?.. И тут Данилка вспомнил про деньги, которые ему дал Кишкопор. Он достал мешочек из-за пазухи и подал его Грязному:

— Возьми...

Грязный вынул деньги, сосчитал и сказал:

— Это мало, да и потертые они все. Наверно, целый год, дурак на брюхе таскал. Это не в счет. Срок мы тебе даем — неделю. Если не принесешь — шлифты долой, вторую ногу укоротим... Понял? А теперь топай отсюда! — и дал крепкий подзатыльник.

Данилка чуть не упал, споткнулся и выронил торбочку с хлебом и молоком. Кто-то из дружков Грязного пнул торбочку ногой, пробка из бутылки вылетела, и молоко полилось на землю...

В петропавловской церкви был какой-то праздник. Отец Александр встал очень рано, заставил тетку Арину натереть медный крест сукном. Пока он надевал новую рясу, тетка Арина в прихожей терла крест о валенок, надетый на левую руку. Отец Александр увидел это и стал выговаривать тетке:

— Арина, ах ты, господи! Ты что же это в грех вводишь? Видано ли, чтобы поганой обуткой святой крест попирать! Господа забыла...

Днем на поле из города доносился колокольный звон. А вечером, когда Данилка пригнал коров, увидел, что вся изба уставлена корзинами. Они стояли в сенях и в прихожей, на лавках и на полу. Из корзинок торчали куриные, гусиные ноги, выглядывали розовые калачи, яйца, яблоки. Тетка Арина ворчала: «И куда все это девать? Люди последнее, может, отдали, а он свиней кормить будет. Это ли не грех!».

Вечером, когда уже легли спать, во дворе запели, загомонили мужики. Данилка лежал на сундуке, в углу прихожей. Он увидел, как в избу ввалились пьяные отец Александр и еще несколько мужиков с бородами, один тоже в рясе. Все еле держались на ногах, были в грязи. Сухонький мужик повис на отце Александре, целует его и говорит:

— Вот послушай, батюшко, что делается на свете божьем. В деревне у нас голодранцы хлеб изымают, кулаком меня называют. Тот-то, Ахванька, кожан надел, наганом на меня машет. Говорит, кулак ты. А я ему: ты иде же это кожан взял? Ежели, говорю, он твой, то ты и есть кулак, а ежели не твой, то ты варнак...

Отец Александр в ответ мужика целует:

— Верно ты ответил. Сам господь твоими устами глаголет, Савва Митрич. Истинный крест, верно! Арина, принимай гостей!

Один мужик упал рядом с сундуком, уткнулся лицом в корзинку с яйцами. В корзине шмякнуло. На него не обратили внимания, прошли с топотом в горницу, оставив на полу ошметки грязи. Слышно, как уселись за стол, водку начали разливать. Хватились того мужика, что упал.



Двое вышли, стали поднимать его. Поднимают и приговаривают: «Сказано, пьяному и до порога нужна подмога. Давай, Лексей, ноги-то распрями. Ух, чижолай, окаянный!» Отец Александр на пороге показался, что-то сказал, мужики оглянулись на него, и Лексей выпал у них из рук и ткнулся лицом в пол.

— Истинно сказано у Луки: и возвратится пес на блевотину свою,— заключил отец Александр, и все ушли к столу, оставив Лексея лежать.

Данилка не мог уснуть, хотя за день устал и пережил много страхи. В доме стоял топот и крик. По горнице вприпрыжку бегал отец Александр, пинал ногами корзины и сумки, становился на них и подпрыгивал, месил ногами все, что было в сумках. Мужики пытались удержать его, но он отмахивался:

— Отринь, Савва Митрич, все одно конец свету! Дьявол уже пришел, храмы рушит. Гуляй напослед! У-ух! Видали, сегодня объявилась злодейка из Акмолы?

— Какая злодейка, батюшко?

— А которая в Акмоле учителькой была, Полина Федоровна. Теперь ее главным антихристом сделали. Почему, думаешь, сегодня в церкви мало молодежи было? Это она всех собрала, против господ бога повертывает. И сейчас еще в клубе сидит. У-ух!..

Снова затопали поповские сапоги, но Данилка уже ничего не слышал: так стучало его сердце. Полина Федоровна здесь! Где же она, как ее найти? А может, уехала уже?

Ночь для него вдруг стала днем. С души свалилось что-то тяжелое, он почувствовал: это именно то, чего он искал, что томило его долгое время и было неясным, а теперь определилось и обозначилось зримо, как солнце поутру на ясном небе.

Когда все ушли в горницу, Данилка встал с сундука, надел свои разбитые сапожки, пальтишко. Стал искать шапку, но не мог никак найти. Без шапки выбежал на улицу. На улице бело от выпавшего первого снега. Данилка бежал в сторону центра, к клубу.

Окна клуба глядели в ночь желтыми квадратными глазами. Из раскрытой двери выкатывался белый пар. Значит, в клубе народ. Данилка направился к двери, но раздумал, подошел к окну. Окна высоко, никак не заглянуть. Он вскарабкался на пристенок, глянул в окно. Ничего не видеть: стекло слегка заиндевело с той стороны. Долго дышал на него, пока не вытаял малюсенький кружок, для одного глаза.

Приставил глаз к кружочку и увидел Полину Федоровну.

Она стоит в кругу парней и девок, о чем-то с ними говорит, машет рукой, сердится, улыбается. Значит, успел, здесь она!

Данилка слез с пристенка, посидел на крылечке. А вдруг с той стороны двери есть, и Полина Федоровна выйдет там! Помчался на ту

сторону клуба. Но там не только дверей, но и окон нет — глухая стена. Вернулся к двери, сел на крыльцо. Стало зябко. Чтобы согреться, стал бегать вокруг клуба. Как только оказывался на той стороне, где нет окон, его словно кто подстегивал, и он мчался к двери: боялся, как бы не прозевать Полину Федоровну. Еще раз заглянул — там она! Слез, весело постучал ногами о мерзлую землю и, как маленький мужичок, довольно потер руки.

Теперь-то ему никто не страшен! Пускай Грязный грозит финкой сам себе, пусть Марий Навроцкий кидает котенка на лицо отцу Александру...

Зашел в коридор. Дверь из зала в коридор была приоткрыта. Загаил дыхание и услышал знакомый голос:

— Ребята, если мы не спасем детей сегодня, значит, мы ничего не сделаем для будущего...



# ЗА СЕБЯ И ЗА НАС

Николай ОСИНИН

История создания, борьбы и гибели краснодонской подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» привлекала и еще долго будет привлекать пристальное внимание историков и литераторов.

Мы публикуем главы из нового документального произведения сибирского писателя Николая Осинина о судьбах некоторых молодогвардейцев.

## МОЙ ДРУГ ВИКТОР ТРЕТЬЯКЕВИЧ

Письмо Ани Борцовой учительнице Анне Дмитриевне Колотович

Уважаемая Анна Дмитриевна!

Спешу поделиться с Вами большой радостью. Сегодня в газетах прочла Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Виктора Третьякевича орденом Отечественной войны 1-й степени. Вы, конечно, уже знаете об этом. Счастлива, что Виктор займет теперь подобающее ему место среди членов «Молодой гвардии».

Если бы вы знали, как я тяжело переживала его смерть! А еще горше и страшнее было слышать, что на Виктора пало подозрение в предательстве. Ведь это так не вязалось с тем, каким я его знала!

Мы с ним учились в одном классе, но по-настоящему я его узнала

только тогда, когда он был избран секретарем комсомольской организации нашей школы.

Весь учебный год мы сидели за одной партой. Секретарство для Виктора было делом новым и сначала, пока он не втянулся в работу, отнимало очень много времени. Даже успеваемость у него снизилась. Он похудел, глаза горели лихорадочным блеском — оттого, что не высыпался.

У нас широко велась внеклассная работа. Особенно популярным был струнный кружок, не раз бравший премии на конкурсах. Руководил кружком Виктор. Дисциплина у него была образцовой. Сам он играл на всех струнных инструментах: мандолине, гитаре, балалайке. Слухом обладал исключительным.

Я как-то сказала ему:

— Ты бы мог и на баяне играть?

— Не люблю баян. Вот на пианино поучился бы с удовольствием.

Да здесь брать уроки не у кого.

Виктор заметно отличался от многих ребят своей вежливостью, тактом, рассудительностью. У ребят он пользовался большим авторитетом. Его начитанность, широкий кругозор, большие организаторские способности привлекали к нему сверстников.

Скоро Виктор освоился с секретарскими делами. Я искренне радовалась успехам друга и думала, как легко работается человеку, если его уважают.

Помню, Виктор очень любил украинскую литературу. С увлечением читал произведения Панаса Мирного, Коцюбинского, Леси Украинки. Но с особенной теплотой говорил всегда о Тарасе Шевченко. Восхищался мужеством этого человека, его огромным талантом. Я до сих пор храню, как самую дорогую реликвию, томик стихов великого кобзаря, когда-то подаренный мне Виктором.

Работал он очень сосредоточенно. Его трудно было дозваться, если он занимался каким-либо делом. Кличешь, кличешь — не слышит. Пока не тронешь за руку.

Отношения с Виктором у меня были самые дружеские.

Я знала, что старший брат Виктора Михаил, ответственный партийный работник, живет в Луганске. Время от времени Виктор ездил к нему, как он говорил, «подзарядиться».

Стояла суровая зима. Полотно железной дороги заносило снегом, и тогда останавливалось движение поездов. В бурную январскую ночь Виктору Третьякевичу сообщили, что срочно требуется собрать комсомольцев для очистки путей. Как он добился этого — я не знаю, но в двенадцать часов ночи двадцать человек с лопатами на плечах явились



на работу. Из них восемь девушек. Снег бил в лицо, слепил глаза, а Виктор время от времени ободрял:

— Давай, давай, товарищи, поборемся с бурей! С фашистами, может, потрудней придется...

Секретарство Виктора было самым интересным временем во всей работе комсомольской организации нашей школы. Сколько увлекательных мероприятий проводилось у нас! Жилось тогда весело. То участвуешь в вечере вопросов и ответов, то проходит читательская конференция, то антирелигиозная беседа... Вот почему я с болью в сердце уезжала из Краснодона, когда отца перевели на другую работу.

...Началась война. Гитлеровская армия быстро приближалась к Донбассу. Отец уехал на свою родину, в станицу Гундоровскую. Мы с матерью вернулись в Краснодон.

Вы, конечно, помните, Анна Дмитриевна, как я пришла к Вам за несколько дней до оккупации города. Как бывшая ваша ученица, я считала своим долгом сделать это, а потом бывала у вас запросто, даже оставалась ночевать. В середине сентября в городе появился Виктор Третьякевич. Мы встречались. Я чувствовала, что он приглядывается ко мне, как будто вновь изучает. В это время он часто уходил то в поселок Краснодон, то в Изварино, куда-то еще.

— Зачем ты ходишь? Это же опасно! — говорила я.

— Какая там опасность! — отвечал он. — Надо было товарища навестить.

Когда началась массовая отправка людей в Германию, он заволновался.

— Тебе, Аня, нужно устроиться на работу. А самое главное — вернуться от повестки.

Как-то в клубе, где он последнее время работал руководителем струнного оркестра, Виктор стал знакомить меня со своими товарищами. Многих я знала по школе, особенно девушек, а некоторых видела впервые.

Все, с кем меня знакомил Виктор, подолгу задерживали взгляды на мне. А Ваня Земнухов даже пригнулся, чтобы рассмотреть мое лицо. Сергей Тюленин подошел последним. Подошел стремительно, как будто долго искал по какому-то срочному делу.

— Чуть узнаю... А помнишь, как на собрании делала мне внушение? Ох, и злился я на тебя тогда!..

Все это Сергей говорил, блестя своими ослепительно белыми зубами...

По дороге домой я спросила Виктора:

— Что означает такое пристальное внимание твоих друзей?

Он с улыбкой ответил:

— Забыли тебя. Хотят рассмотреть, какая ты стала. Сейчас, в оккупации, каждого заново приходится узнавать...

Вскоре Виктор предложил мне сходить в станицу Гундоровскую.

— С тобой вместе? — спросила я.

— Нет, мне... некогда. Пойдешь проведать отца. Заодно стнесешь записку моему товарищу. Давно не виделся я с ним. Надо узнать, как живет...

Я немножко обиделась:

— Подумаешь, записку нести!

Виктор серьезно сказал:

— Аня, это не такое уж малостоящее дело. Если прошу, значит надо. Ты должна это понимать, если хочешь быть нашим товарищем.

— Слушай, Виктор, ты от меня что-то скрываешь, ты мне не доверяешь, — и я чуть не расплакалась от обиды.

— Ну что ты говоришь, подумай! — успокоил он меня. — Если бы я не доверял, разве попросил бы тебя о таком деле?.. Завтра дам тебе письмо. Только никому ни слова! Ясно? Вернешься — кое-что объясню. А сейчас — мне пора. Хоть и есть у меня разрешение на право хождения ночью, но...

Виктор ушел, а я еще долго стояла возле своей калитки, перебирая в памяти все, что за эти дни прошло перед моими глазами. В городе появились листовки, ходили слухи о подпольной организации. Все крепла уверенность, что Виктор связан с ней...

В Гундоровке я навестила отца, а затем по указанному адресу нашла Rogozina, которому и вручила послание Виктора.

В Краснодар я возвратилась вечером. Очень устала и легла спать. Часов в одиннадцать раздался стук в окно:

— Аня дома?

Мама открыла дверь и шепотом ответила:

— Спит. Только что пришла от отца.

Поздний гость исчез.

По голосу я узнала, что заходил Виктор.

Встретиться мне с ним удалось лишь через неделю. У моей мамы случился сердечный приступ, и я не могла от нее отойти. Когда ей стало легче, я побежала в клуб.

Играл струнный оркестр. Виктора не было. Руководил музыкантами Сергей Тюленин. После оркестра выступала Люба Шевцова с акробатическими номерами. Потом, как обычно, танцы. Виктор появился перед закрытием клуба. Очень обрадовался мне. В этот вечер мы долго стояли возле нашей калитки. Он мне многое рассказал о своей жизни и своих друзьях.

— Нам, молодым, здоровым людям, стыдно сидеть без дела в



тылу врага! — очень горячо говорил Витя. — Надо помогать нашей армии. И ребята кое-что делают...

Он никогда не говорил: «Я сделал», «Я организовал» — не в его характере было выделять себя. Он говорил: «Ребята листовки расклеивают»... «Хлопцы скирды хлеба пожгли, в шахте аварию устроили...» А сам он как будто к их делам не имел никакого касательства.

Зная своего друга, я догадывалась, что он, несомненно, член подполья, а, возможно, и руководитель. Под конец он и сам сказал:

— Ты, конечно, догадываешься, что все это связано с «Молодой гвардией» — о ней сейчас весь город шепчется. Но надо готовиться к более активным действиям...

Я слушала, как завороженная. И все ждала, что Витя даст мне какое-нибудь ответственное задание. Но он только сказал:

— Подумай обо всем, ладно?

Помните, какая взволнованная прибежала я к вам, несмотря на поздний час?

— Ах, Анна Дмитриевна, как интересно жить! — воскликнула я.

— Это сейчас-то, в оккупации? — удивились Вы и даже рассердились.

Я начала говорить о том, что слышала от Виктора.

Не дав договорить, Вы резко оборвали:

— Аня, это он сказал тебе, как другу, как близкому человеку...

А ты?.. Так же вот можешь рассказать и подружке, а она еще кому-нибудь.

Я поняла, какую оплошность сделала, и расплакалась. Помню, всю ночь не спала, а наутро спросила у Вас:

— Как Вы думаете, я должна рассказать про это Третьякевичу?

— Обязательно. Пусть еще и он тебя пропесочит.

При следующей нашей встрече я во всем повинилась Виктору. Он помрачнел. Потом промолвил:

— Глупая ты еще, Аня! Видно, не отдаешь себе отчета в том, что можно, а что нельзя говорить. Я понимаю: мы привыкли говорить не таясь. Но сейчас это смертельно опасно...

Виктор помолчал, а потом добавил:

— Что Анне Дмитриевне разболтала — не беда. Она все равно о многом догадывается. А впредь — думай...

Матери моей становилось хуже, и я не могла отойти от нее по целым суткам. С Виктором встречалась редко, от случая к случаю. Он был очень занят. Иногда на несколько дней уходил из Краснодона. А куда — я уже не смела спросить.

На Новый год я узнала, что Виктор арестован. Стало так больно и страшно, что я едва сдержала крик. Мама заметила, как я побледне-

ла. Она сделала вид, что чувствует себя хорошо, и настояла, чтобы я ушла из города.

Я еще не была членом «Молодой гвардии», но повсюду начались аресты. В этих условиях действительно самым благоразумным было уйти.

Спустя неделю на квартиру моей тетки явился полицей:

— Здесь живет Анна Борцова? — спросил он.

— Здесь, — сказала тетка, — да ушла в деревню вещи менять на продукты.

— Вещи менять, — недобро усмехнулся полицей. — Ну, сыщем... Виктора я больше не видела...

Обнимаю Вас!

А. Борцова

## СЕРГЕЙ ТЮЛЕНИН И ЕГО ДРУЗЬЯ<sup>1</sup>

Сергей вернулся домой потрясенным. Лег на кровать вниз лицом и пролежал до вечера, не издав ни звука.

— Вставай ужинать, — позвала сестра.

Он медленно поднялся. Но к столу не пошел:

— Надя, знаешь, где раненые, что оставались в больнице?

— Пятерых отдали жителям, а двух самых тяжелых перенесли в каморку за кухней. Неужто немцы их нашли?!

— Нашли... Выволокли на дорогу и — прикладами, прикладами. ...Подбежали две женщины, хотели унести раненых с дороги. Фашисты их тоже прикладами, потом — сапогами. Одну застрелили, другая едва упозгла... Мстить, мстить!... — иступленно выкрикивал Сергей.

...В Первомайском поселке староста нашел в забитом сарайчике склад оружия. Изменник Родины решил передать его в немецкую комендатуру. Снарядил три подводы, взял несколько полицейев и отправился в город.

Когда подводы поравнялись с виноградниками на пустыре, из кустов ударил автомат. Полицай, как крысы, бросился врассыпную. Из виноградников выскочило четверо хлопцев, схватили оружие, сколько было под силу унести, и скрылись. Дело было к вечеру. Прибывший на это место отряд полиции никого не нашел.

Надя, узнав о случившемся от женщин, спросила у Сергея:

— Кто на такое мог решиться?

<sup>1</sup> По воспоминаниям старшей сестры Сергея Нади Тюлениной.



— Не знаю...— ответил Сережа и отвернулся. Но легкая усмешка на его лице говорила, что он хорошо был осведомлен о нападении. Это было 23 августа. В тот день закадычный друг Сергея Миша Григорьев тоже был в приподнятом настроении и все время напевал вполголоса свою любимую песню:

По долинам и по взгорьям...

— Потом наши разговоры с братом стали более откровенными,— рассказывала Надя.— Однажды он обратился ко мне с вопросом: «Надя, ты член партии, не знаешь, кто из коммунистов оставлен у нас в городе?.. Ну, понимаешь, для чего...» Но я ничем ему помочь не могла. Приходит он через неделю опять веселый: ребят знакомых встретил. «Знаешь,— говорит,— какая удача, сестренка? Оказывается, наших хлопцев много в городе застряло. Песка не очень лезут на улицу. Ну да пообвыкнут, приглядятся к фрицам — посмелеют».

По городу были расклеены приказы, на которые не скупилась носители «нового порядка». Ходить по городу позже семи часов — смерть, оружие найдут — смерть, на место работы являться обязательно, на бирже труда зарегистрироваться надо. За любое нарушение приказа одна мера наказания — расстрел.

— За один наган — смерть, — балагурил и в таких условиях не унывающий Сережа, — а если их много, то еще посмотрим! Если позже семи часов идти, то есть в восемь-девять — смерть. А если в два, в три ночи — это еще посмотрим!..

Но однажды Наде пришлось столкнуться и с невероятным: Ковалев, Григорьев и Пирожок, все друзья Сергея, ходили по городу с связками полицейских! Нельзя было поверить, что они изменили Родине. Однако факт оставался фактом: всем троем немцы даже доверили винтовки.

Когда у матери Миши Григорьева спрашивали, как же это ее сын, комсомолец, пошел на такое, бедная женщина заливалась слезами:

— Сама не пойму. «Так надо», — говорит.

В ночь под седьмое ноября 1942 года Анатолий Ковалев и Михаил Григорьев добились, чтобы их назначили дежурить вместе возле помещения полиции. Было морозно, и патрульные, походив с полчаса, надолго забирались в теплую дежурку. Миша с Анатолием, заступив после полуночи, обогнули здание, осмотрелись. На улице не было ни души. Анатолий из-под джемпера вынул красное полотно. Миша вмиг прикрепил его к заранее приготовленному деревку. Своими богатырскими руками Толя подсадил друга на низкий карниз крыши. Через несколько минут тот спрыгнул на землю, и «полицей», как ни в чем не бывало, зашагали по улице.

Кончилось дежурство, они вошли в здание и легли спать.

Утром 7 ноября жители Краснодона увидели советские флаги на многих зданиях. Начальник полиции Соликовский, брызжа слюной, орал на своих подручных и метался по городу с плеткой. Когда ему сообщили, что на полицейском управлении тоже висит флаг, он сначала не поверил. Затем, убедившись, что и на его «резиденции» побывали подпольщики, пришел в совершенную ярость. Отстегал плетью очередного дежурного, устроил «разгон» всему наряду, но, боясь, чтобы про этот флаг не стало известно немецкому начальству, приказал полицейским молчать. Очень уж ему было конфузно.

Однако весть об этом событии уже передавалась по городу из уст в уста. Дерзость подпольщиков рождала легенды...

Группа Сергея получила задание расклеить листовки в самых оживленных местах города. Дежурил возле полицейского управления опять Миша Григорьев.

Была лунная ночь. Две фигуры, держась в тени, показались из-за угла. Чиркнула зажигалка. Миша трижды мигнул фонариком. Подпольщики мигом перебежали улицу. Степа Сафонов мазнул забор, которым было обнесено здание полиции, Сергей Тюленин прилепнул бумажку.

Вдруг со стороны базара послышался приглушенный свист. Ребята вмиг исчезли. Миша размеренным шагом двинулся вдоль забора. Навстречу ему из-за ближнего барака вышел заместитель Соликовского — Захаров, один из самых лютых палачей в полиции.

— Кто здесь пробегал? — рякнул он, держа револьвер в руке.

— Вроде никого, — спокойно ответил Миша. — Бауткин недавно с поста вернулся.

Захаров сразу увидел белешую при лунном свете листовку.

— А это — откуда? — засрал он. — Ты наклеил! Сам!

Он загнал Мишу в дежурку, приказал разоружить.

Дорого на этот раз молодоговардейцам обошлась их дерзость. Только выдержка и стойкость Григорьева спасли организацию от провала.

Целую неделю держали Мишу в камере, допрашивая каждый день. Захаров бил его ручкой пистолета по лицу, выкручивая руки.

— Не видел я, — стоял на своем Григорьев. — Может, листовку до меня кто налепил. Или когда я ходил вокруг дома.

Не добившись ничего, Захаров и Соликовский приказали всыпать Михаилу 25 плетей и выгнали из полиции «за недисциплинированность».



Чуть живого юношу мать привезла домой. Миша заболел нервной горячкой. Полмесяца пролежал он в бреду. После перенесенных мучений его трудно было узнать.

В один из октябрьских вечеров кто-то постучал в дверь дома Виценовских. Мария Александровна осторожно спросила:

— Кто?

— Ваш сын Юрий на ночь квартирантов прислал. Примите, Мария Александровна!

Быстро открыв дверь, она впустила двух мужчин — оборванных, едва живых. Не было сомнения, что они только что бежали из колонны военнопленных. Приведший их человек сразу же скрылся в темноте.

— Кто вас вел? — спросила Мария Александровна, усаживая «квартирантов» за стол.

— Какой-то полицай, — сказал мужчина, который был помоложе и покрепче. — Мы уж думали — конец нам...

И он рассказал, как городские ребята помогли им бежать. Когда колонна военнопленных вступила на первую улочку города, из домов высыпало много женщин и стали бросать голодным людям картошку, хлеб.

Несмотря на брань и удары прикладами, порядок нарушился. Люди кидались туда, куда падали куски хлеба. В толчее среди пленных появилась девушка на коньках.

— Катитесь в яр и лежите там, — шепнула она.

Сделав движение, будто поскользнулась, девушка схватила за руку ближайшего конвоира и повернула его спиной к яру. В ту же секунду двое пленных бросились вниз по склону. Следом, вздымая снежную пыль, помчались чьи-то санки. Слышался веселый мальчишечий голос:

— Филька, берегись!..

Пролетая мимо упавших пленных, паренек тихо бросил:

— Замрите!..

Когда колонна прошла, та же девушка на коньках подняла их:

— Идите за мной!

Глухим пустырем, через каменный карьер провела она беглецов к какому-то дому, трижды стукнула в ставень и, шепнув им «ждите», тут же исчезла.

Из дома вышел полицай с винтовкой.

— Мы так и сомлели! — рассказывал Марии Александровне младший из мужчин. — А полицай говорит: «Не бойтесь. Проведу вас к хорошим людям...» Вот мы и у вас.

Два дня бежавшие из плена жили в доме Виценовских, потом Юрий так же незаметно, ночью, увел их.

Желая проверить свои предположения, Мария Александровна в разговоре с сыном сказала:

— Ты, оказывается, с Мишей Григорьевым дружишь?

— Узнала его? — быстро спросил Юрий, и по лицу его скользнула тень беспокойства.

— Мне показалось, что он приводил пленных.

— Мало ли что может показаться в темноте. Главное — ни с кем ни слова на эту тему...

Видно, Юрию и лгать матери не хотелось, и правду сказать было нельзя.

### ПРОВАЛ<sup>1</sup>

В замасленном полушубке Осьмухин шел по дороге к мехцеху, решив полутно заглянуть к Ивану. У калитки стоял отец Земнухова и смотрел из-под руки в сторону площади. Тут же была и мать, она вытирала глаза концами платка. Смутная тревога уколола Володю в сердце. Он торопливо спросил:

— Ваня дома?

— Вон, повели Ваню, — сказал отец и трясущейся рукой показал на площадь.

Володя метнул быстрый взгляд в ту сторону: Ваня шел между двумя полицаями.

Схватили!.. За что? Неужели провал?

Володя бегом направился к механическому цеху. Внезапно перед ним выросла Оля Иванцова.

— Забрали Мошкова, Земнухова, Третьякевича, — быстро сказала она. — Кажется, из-за проклятых мешков с подарками. Надо передать нашим, предупредить...

— Действуй! Я в мастерские, скажу Туркеничу.

По дороге он продолжал лихорадочно прикидывать в уме, как велика опасность для других членов «Молодой гвардии». О том, что арестованные товарищи могли кого-то выдать — это совершенно не приходило в голову. Но что именно стало известно полицаям о последнем налете на автомашины с подарками? Знают ли они всех участников операции?

<sup>1</sup> По воспоминаниям близких.



Туркенич встретил весть об аресте троих членов штаба без паники.

— Из этих и само гестапо ничего не вытянет, — уверенно сказал Ваня Туркенич. — А раз их в полицию взяли, значит, по уголовному делу.

Но после работы он снова подошел к Осьмухину. Вид у него был теперь озабоченный и хмурый. Володя догадался, что Туркенич разговаривал с кем-то из старших — с Лютиковым или Бараковым — и те куда более серьезно отнеслись к аресту.

— Знаешь, Володь, надо предупредить оставшихся членов штаба, чтобы сообщили всем руководителям групп, подготовиться к уходу из города.

— Ладно, передам Кашуку и Тюленину. А нам самим как быть?

— Прямой угрозы, кажется, нет. Но понимаешь, какое дело, полиция зашевелилась и жандармерия тоже. Надо ожидать облав и проверок. А у нас в мастерских, ты же знаешь, сколько сбежавших из плена. Документы у них — липа. Этим хлопцам надо побыстрее найти квартиры в окрестных поселках и вывести отсюда.

Полиция нагрянула в середине дня. Первым схватили Николая Румянцева. Ваня Туркенич видел через открытую дверь столовой, как заламывали Румянцеву руки назад. Он сразу понял, что коммунистическое подполье, возглавляемое Филиппом Петровичем, раскрыто: Румянцев был активным членом группы Лютикова.

Полицейские заняли выход из мастерских и по двое, по трое, ходили по цеху, выискивая коммунистов. Туркенич проскользнул за станками к окну. Потянул створку — она медленно подалась. В следующее мгновение он, едва ступив ногой на подоконник, вымахнул на улицу. Кто-то из рабочих сразу прикрыл за ним окно. Однако завхоз Валентин Ключ, крутившийся по цеху вместе с полицейскими, заметил, как Иван выскочил. Он шепнул дежурившим у двери. В погоню за Туркеничем бросились двое. Но того и след простыл...

Из горсда Иван выбрался часов около десяти. Направлялся он к семье одного товарища, с которым вместе служил в армии. Дорога была переметена, тридцать километров Туркенич едва осилил к утру.

Хата Панаса Перебийнос стояла у балочки на краю села. Сам Панас воевал на фронте. Дома осталась его жена Дарья Васильевна с двумя детьми. Она хорошо знала Ивана и даже звала его в шутку кумом. К ней на рассвете и постучал Туркенич.

Узнав голос «кума», Дарья Васильевна быстро открыла дверь. После первых же слов женщина поняла, что его надо спрятать.

— Ладно, придумаю что-нибудь, — сказала она. — А сейчас лягай спать.

Однако спать не довелось. Залаяла собака, к хате Перебийноса подошел местный полицай Стриженко с двумя сварливыми соседками. Оказалось, пропало общественное ведро с колодца. Пришлось их впустить в дом. Иван спрятался во второй комнатке, где спали дети.

— Как хочешь, Васильевна, а на тебя падает подозрение, — заявила одна из вошедших. — Вчера я поздно воду брала — ведро в колодец спустила, чтоб не замерзло. Сегодня глядь — нет его.

— Так с чего вы надумали, что я взяла? — с досадой сказала жена Панаса.

— А с того, милая, что у тебя перед рассветом двери скрипели.

— Корова у меня вот-вот отелится, с того и выходила. Что мне ведро? Ну, идемте в сени, в хлев — глядите. Не в горницу ж я его пощащу, если взяла.

Переругиваясь, они вышли из хаты. Иван решил, что вместе с женщинами ушел и полицай. Надо было быстро убрать телогрейку, которую он второпях оставил на крючке у порога, а то вдруг зайдут снова соседки — у таких баб глаза приметливые.

Обманутый тишиной, он быстро распахнул дверь в первую комнату и нос к носу столкнулся с полицаем. От неожиданности тот выронил винтовку. В одно время нагнулись за ней Туркенич и Стриженко. Схватили, затягались в тесной комнатке. Иван вырвал ружье. Стриженко побелел.

— Слушай, — сказал Туркенич, — ты жить хочешь. Хочу жить и я.

— Та мне що, живи. Тильки рушницу отдай.

Иван знал, что если он убьет сейчас полицая, то Дарью Васильевну с детьми расстреляют «за укрывательство».

— На, — протянул он винтовку. — Да не вздумай болтать, что я у хумы был. Панас мне того не простит.

Стриженко не очень ревностно служил своим «господам» — старался не обижать односельчан. Последние слова Туркенича навели его на мысль, что тут просто «любовное дело». Будь перед ним партизан — тот бы ружье не отдал.

— Буду молчать, тильки не кажись днем.

Полицай с женщинами ушел.

Рассказав Дарье Васильевне, что случилось, Туркенич тут же выбрался из-под гостеприимного крова, проскользнул возле плетня в балочку и скрылся из села.

Часа через три-четыре после его ухода к Дарье Васильевне явились два полицая со старостой. Они обшарили все закутки в доме и во дворе — искали будто бы ведро...



Туркенич направился по дороге к леску. Затем буераками, вдоль ручья. Несколько суток пробирался он в сторону фронта. В одной землянке решил отдохнуть. Здесь его и нашли наши разведчики.

Вместе с передовыми частями Советской Армии он вошел в Краснодар.

Сергей Тюленин вернулся домой ночью — раненый, обмороженный, голодный. Трое суток перед этим не смыкал глаз. Сказав несколько слов о своих злоключениях при переходе фронта, он уснул, едва коснулся кровати.

Утром в дом Тюлениных забежала их соседка Максимовна. На руках у Александры Васильевны хныкала внучка.

— Чего куксишься? — приторно улыбалась соседка, трогая ребенка. — Нет дяди Сережи, никто тебе пеленья не носит...

— Онь дядя! — малышка указала пальчиком на загородку.

Максимовна бесцеремонно приоткрыла дверь в соседнюю комнату, где спал Сергей:

— Ага, прилетел, значит!.. Зачем это я пришла к тебе, соседка? Вот голова!.. А-а, дай-ка ты мне ситечко.

Она тут же ушла.

На сердце у Александры Васильевны стало беспокойно. Надо было будить сына, да у него был такой измученный вид, что решила повременить до завтрака.

А через час в дом вошли два полица и сразу — за перегородку:

— Вот он, бегунок! Насилу дождались!

Сергей поднялся, но не сразу понял, кто его будит.

Мать упала в ноги полицаям:

— Не губите! Корову отдам, все забирайте — скажите там: нет дома...

Маруся, сестра Сергея, принесла заветную коробочку с двумя золотыми обручальными кольцами:

— Возьмите... вместо брата. Еще костюм мужнин отдам, новый. Заколебались полицаи, начали переглядываться.

— Павло... А может... — сказал один, явно не желая выпускать из рук золото.

В это время в дверях показалась Максимовна, и почти следом вошел немец с автоматом.

Полицай торопливо сунул в карман коробочку с кольцами. Второй толкнул Сергея к выходу:

— Теперь ничего не поделать. Идем...

Сергей с презрительной ухмылкой глянул на него и начал целовать родных:

— Ну, мать, прости и прощай... Вот и отоспался дома...

Немец взмахнул плеткой в сторону Александры Васильевны:

— Ты тоже пойдешь, старый собак. Вместе пойдешь!

Мать даже рада была, что будет сопровождать раненого сына.

— Когда меня втокнули в застенки, — рассказывала потом Тюленина, — шум стоял. Сплошной шум, будто оглохла я. Сердце закаменело. Нашла местечко, села на пол. Спустя время голоса начала различать. Рядом увидела Аню Сопову. Косы вокруг шеи. Светленькая блузка в крови, прилипла к спине, задубела... Потом Аня пить попросила. На окне стояло ведро. Я подала ей.

— Спасибо, бабушка, — сказала она. — Как вы попали к нам? Кто вы?

— Я Тюленина, Сергея мать...

Аня вздрогнула. Сжала мою руку. Спросила тихо:

— Он здесь?

Загремел замок. Из двери крикнули:

— Тюленина, бабка, на допрос!

У меня сердце обмерло. Я зачем-то платок поправила, из камеры, как мне показалось, боком вышла.

— Сюда! — крикнул полицаи, когда мы двинулись по коридору. Он открыл одну из дверей и втокнул меня в комнату.

Там сидели трое. Накурено, вонища. Не сразу разглядела Сережу. У стены он стоял... Рубаха изодрана, лицо в ссадинах, опухло так, что глаза совсем заплыли. Кинулась я к нему. Немец дернул меня за руку, назад вернул: стой здесь!

Сын глядел на меня пристально, что-то хотел сказать, предупредить о чем-то.

Допрашивали Сережу.

Я поняла, что вызвали меня, чтобы я видела, как мучают его, и от того чтоб ему было тягче.

— Где был? Кто посылал? Что видел? — сыпались вопросы.

У Сергея лицо искривилось. Сказал с ненавистью:

— Ничего вы, гады, от меня не услышите. За нас скажет вам Советская Армия. Вы слышите?.. Слышите?..

Вдалеке гремели пушки.

Фашист что-то сказал другому, и я увидела, как тот сорвал с руки Сережи повязку, прутом железным в рану ткнул. Красные круги перед глазами у меня пошли.

— Изверги! Людоеды! — кричу. — Вы что делаете?! — Кинулась я на ката проклятого. Прут из рук его вырвала. В угол швырнула.



Один палач меня в грудь ударил. Отбросил назад. Другой на Сережу, как собака, накинудся. Стал бить чем-то по лицу, по голове.

— Бей, кат! Бей! — крикнул Сережа и плюнул в немца кровью. Потом упал.

Тут уж не помню, что и было. Я что-то кричала. Вырвалась — и опять к Сереже. Закрыла сыночка своим телом. Он разлепил глаза и тихо так сказал:

— Не дразни зверей... загрызут... Пусть одного меня... Ты ничего не знаешь...

Больше ничего не помню...

Очнулась я в камере. Ко мне женщина склонилась — поила водой. Я пила и не чувствовала, что пью. А перед глазами — Сергей. В крови, без рубахи, руки вывернуты. И плевок его на поганом лице ката... Кровью своей плюнул сыночек мой.

## У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ!

...Последнюю группу везли к шурфу на двух санях.

Кончилась улица, дома отодвинулись, ушли туда, где оставались люди и будущее. Последний домик мигнул звездочкой-огоньком, потом тоже исчез. Впереди поднимался, вырастал террикон. Он был похож на огромный могильный курган или древнюю пирамиду.

А кругом степь снежная. И ночь. Вот и все, что осталось им видеть.

И те, кого везли, и те кто вез, знали это. Знали, что мир для осужденных кончается. Но те, кто вез, — палачи — были пьяны, поэтому перекликались громко: глушили в себе страх перед тем, что предстояло им делать, и ободряли себя, и старались заглушить предчувствие неизбежности собственного близящегося конца. Они везли убивать, а сами тряслись от ужаса.

Брякали винтовки.

Брякали невпопад нарочито громкие голоса полицаев.

А те, кого везли убивать, лежали молча, не двигались.

Казалось, смерть уже наложила ледяную свою костистую руку на них: обречен человек, молчи и сдайся, прими судьбу свою. Тонкой тоской визжали полозья.

Казалось, люди поняли и приняли участь свою. Никто не шевелился.

Но так только казалось.

По рассказам очевидцев.

Не вздрагивая, не шевелясь, вдруг до судорог напряглось могучее тело Анатолия Ковалева. Ослабло и снова напряглось. Бугры мускулов делались, как булыжники. Мелкую дрожь его чувствовали лежавшие рядом товарищи и знали, что он пытается разорвать провода, которыми были стянуты руки за спиной. Так продолжалось всю дорогу.

Наконец Ковалев прошептал в самое ухо Мише Григорьеву:

— Готово. Сейчас тебе помогу. Бежим...

Миша с трудом качнул головой — тронул губами щеку друга:

— У меня сил нет. Беги один.

Анатолий хотел сделать движение в сторону Виценовского. Но тот, уже догадавшись о том, что происходит, чуть заметно тронул ногой плечо Анатолия. «Не шевелись! Мне не поможешь. Беги один», — означало его тихое подталкивание. На последнем дневном допросе полицаи стбили у него внутренности, Юра Виценовский не в силах был встать — не то что бежать.

Сани остановились шагах в двадцати от взорванного копра, под которым в снегу зияла черная пропасть шурфа. Молодогвардейцы поняли, что это и есть их могила.

Полицаи, нагнетая в себе злость грязной бранью, начали стаскивать их с саней.

Первой поволокли к шурфу Аню Сопову.

Захаров шел впереди и тащил ее за одну косу — вторую он оторвал на допросе. Возле шурфа Аню поставили на ноги. Собравшись с силами, она выпрямилась, в упор посмотрела Захарову в глаза.

Звери не выносят человеческого взгляда, и палач заорал:

— Нагни голову!..

— Чтобы я склонилась? Нет!..

Внимание полицаев на несколько секунд было отвлечено Соповой. Воспользовавшись этим, Анатолий Ковалев ударом плеча опрокинул стоящего рядом полицаю и рванулся вниз по склону. В то же мгновение Миша Григорьев с криком побежал в другую сторону. Он бежал мелкими шажками. Ноги непослушно путались и запинались, точно задевали за невидимую проволоку в снегу. Пронзительная боль в позвоночнике не давала ему ускорить бег. Но он, вихляясь, продолжал бежать, чтобы отвлечь от друга хотя бы часть огня конвоиров.

И в ту же секунду на передних санях вскочил Сергей Тюленин, лежавший там без движения. Он вскочил и, увидев, как наперерез Ковалеву ринулся Захаров с каким-то своим холуем, закричал вдруг звонко на всю степь:

— Толя, левей!.. Толя! Толя! Левей!

Ковалев, безотчетно подчиняясь этой его команде, резко повернул влево. Пули Захарова, палившего на бегу из пистолета, уже не могли



достать его. А от полицаев, стрелявших со стороны копра, беглеца вскоре загордили снежные сугробы.

Пуля сразила Мишу Григорьева метрах в пятидесяти от саней. Он и не мог бы уйти. Все, что он делал, кинувшись через силу бежать, имело лишь одну цель — вызвать огонь на себя, облегчить возможность побега товарищу.

А Сергей продолжал кричать. Сверху, с того места, где стояли сани, ему было видно, куда лучше бежать, чтобы скрыться от преследователей. Он указывал путь беглецу, пока автоматная очередь не прошла его. И уже падая и теряя сознание, он крикнул счастливым голосом: — Ушел!..

Даже у последней черты герои не о себе думают — о друзьях...

## ОТКРЫТИЕ

Владька проснулся внезапно, сразу, точно его кто окликнул. Взглянул на койку матери — она оказалась уже убранный — и вспомнил, что мать собиралась с утра на покос, а он, ложась спать, тоже загадывал встать пораньше.

В комнате было тихо, только на столе торопливо отсчитывал секунды будильник. В ногах теплой тяжестью упрелась кошка. Владька пошевелил ногами, согнал кошку на пол: разлеглась как ни в чем не бывало, будто и не она вчера вечером кровожадно слопала синичку. Потом вскочил с кровати сам и побежал в сени к умывальнику.

Маленький полустанок — всего с десяток стандартных домиков — дремал в полусонной, молочно-теплой тишине утра. Только под плетнями копошились в земле куры, да посредине единственной улочки, похрюкивая, сам, должно быть, не зная куда, брел соседский поросяенок.

Тишина наплывала на полустанок со всех сторон; с зеленого, еще не скошенного луга за огородами, из березняка за озером, с неба. И ни квохтанье кур, ни теньканье птиц на лугу не могли опугнуть эту тишину. И лишь басовитые, из самого железного нутра, гудки электропоездов и перестук колес иногда заставляли эту тишину ненадолго отпрянуть в рощу и луг. Полустанок был маленький, пассажирские поезда дальнего следования на нем никогда не останавливались, и только на минутку рано утром и вечером притормаживала электричка, да иногда подолгу стояли платформы порожняка, если их не принимала соседняя станция.

Владька в свои шесть лет еще никуда не ездил, даже до соседней станции, огни которой заревом светили вечером над дальним лесом. Он посмотрел сейчас на этот лес, синий и таинственный, и вдруг



замер в изумлении: над лесом, далекая и туманная, вырисовывалась невиданно прекрасная страна.

Солнце уже поднялось высоко, но его не было видно за плотными, во весь горизонт тучами. И лишь отдельные лучи, пробиваясь сквозь них, падали веером на землю. Одни из них были темные, другие — светлые, с позолотой. Они-то и освещали сказочную страну, только что открытую Владькой.

Были в этой стране и синее море, и острова на нем с грозными, неприступными горами, и сияющий песок берега. Не было только кораблей и чаек, как на красивой открытке, привезенной матерью с Черного моря, где она отдыхала прошлым летом. Но и без кораблей и чаек открытая Владькой страна была куда лучше той, что на картинке. Светлая и туманная за далью, она завораживала взгляд, манила к себе.

По улице, погоняя хвостинкой гусей, проходила бабка Матрена. Владька крикнул ей, указывая на восток:

— Что это, бабушка, море?

Старушка приставила ко лбу ладонь, взглянула по направлению Владькиной руки.

— Какое там еще море, внучек, откуда ему бы взяться издеса?

— Да вон, вон, видишь?..

— Должно, к дождю: солнышко с тучами играет..

— Ничего ты, бабушка, не видишь, — рассердился Владька.

— И то, и то, — согласилась бабка и спросила: — А ты что же за молоком не идешь?

— Да ну его, молоко! — отмахнулся Владька и припустил к соседнему огороду, на котором заметил платок второклассницы Гальки.

— Галка, смотри — море! — закричал он еще издали.

Девчонка долго смотрела на восток и хотя, должно быть, увидела и море, и острова на нем, и горы, трягнула косичками.

— Выдумал! Какое же море на небе? Так не бывает.

— Нет, море! — упрямо топнул ногой Владька. — И не на небе, а за лесом. Видишь, острова даже есть?

— Дурачина, это тучи.

— Нет, острова!

Он бросился к насыпи — самому высокому месту на полустанке: отсюда-то можно всю страну рассмотреть еще лучше.

На запасном пути стоял длинный состав порожняка, и Владька влез на одну из платформ. Влез — и опять застыл в изумлении: пока он бежал сюда, на море появился еще один гористый островок с такой синей бухточкой и такими красивыми горами, что нельзя было ото-

рвать глаз. Отсюда, с высоты, неведомая страна казалась совсем близкой, чуть-чуть подалее того леса, за которым была соседняя станция.

Владька не услышал ни свистка тепловоза, не ощутил и толчка, а когда увидел, что состав, все ускоряя ход, устремился к сказочному морю, все в нем будто зазвучало туто натянутой струной.

Мимо мелькнуло озеро, в котором он собирался поймать сегодня карася, шумом отозвалась березовая роща с бездомницей-кукушкой, побежала вспять пестрая от женских платков зеленая луговина, а Владька ничего не видел и не слышал: глаза его были прикованы к невиданной стране, которая почему-то еще не приближалась, хотя состав уже подходил к лесу.

Откуда-то взывшийся ветер трепал Владькины волосы и подол рубашки, Владька смеялся и кричал что-то ветру.

Он был бесконечно рад, что первым приедет в открытую им прекрасную, как мечта, страну.

## ПИРАТКА

Иногда перед ним останавливались люди, подолгу смотрели в налитые болью и слезами глаза, переговаривались:

— Живая еще...

— Наверное, под машину попала...

Пират будто сквозь сон слышал их голоса, видел словно размытые рябью воды лица и с трудом выныривал из забытья. Голоса, жесты людей будили в памяти сумеречные воспоминания. Вот так же давным-давно указал на него пальцем хозяин и попросил кого-то:

— Мне вон того, с пятном на спине.

Жесткая рука схватила Пирата за шиворот, оторвала от влажных и сладких сосков матери. Он тогда завизжал от боли и возмущения, цапнул за пахнувший табаком палец.

— Смотри ты, какой кровожадный — настоящий пират, — удивился тот, что держал за шиворот.

Новый хозяин довольно засмеялся и сунул Пирата под душную полу овчинного полушубка. Случайно оброненное слово стало кличкой.

Пиратка рос веселым, игривым щенком, дружил и с людьми, и с собаками на всей улице, никогда не бросался, как глупые дворняги, на пешеходов, не лез первым в драку даже на собачьих свадьбах. Но его все же звали Пиратом, и он не обижался на это, наоборот, гордился, когда окликал хозяин или хозяйка.



Сейчас люди тоже окликали его, заставляя на некоторое время очнуться от забытья. Называли Валетом, Барбосом, Жучкой и ни разу — настоящим именем. Что-то похожее на досаду мелькало при этом в темных собачьих глазах. Ну, как они могли спугать его, Пирата, с лохмачом Валетом или пустолаем Барбосом с соседней улицы?..

Чей-то будто знакомый голос заставил Пирата вздрогнуть и напрячь зрение. Нет, это не хозяин, просто показалось. Хозяин и не подозревал, что Пират увязался за ним. Хозяин просто не заметил случившегося, не услышал вырвавшегося из горла Пирата отчаянного вопля. Иначе он бы вернулся, и не лежал бы Пират на холодном сугробе у ограды, не замерзал бы постепенно, холодея от кончиков раздавленных задних лап.

Недавняя страшная боль куда-то ушла, уступив место этому холоду. Пират уже не чувствовал ни задних лап, ни хвоста, холод крался под ребра, где еще билось неутомимое сердце.

Хорошо еще, что от сугроба до очищенной панели было метров пять глубокого рыхлого снега и никто из прохожих не мог подойти, обидеть... Он знал, люди бывают разные: и добрые, и злые, и был рад, что сумел вгорячах доползти до этого сугроба. Здесь спокойнее, а когда вернется хозяин, он не испугается глубокого снега, он ведь охотник.

Мимо то и дело проносились машины, огромные и страшные теперь для Пирата своей жестокой тупостью. Под самыми большими дрожала земля, и Пират нелепо вздрагивал. Влажный кончик носа его шевелился, улавливал нестерпимо резкий запах бензина. Он не мог понять, за что одна из таких машин вдруг бросилась на него, когда он, тайком провожая хозяина, — тот не любил, когда Пират бежал за ним вслед — хотел пересечь улицу. Ударила в бок, подмяла под себя круглыми лапами. Он никогда не нападал на машины ни раньше, когда еще жил с хозяином в деревне, ни здесь, в городе, не облаивал их, как глупый Барбос. Просто считал нетактичным такое поведение, хотя машины портили воздух своим дыханием. Ах, если бы он не задержался на углу около собачьей почты! За это время хозяин успел перейти на другую сторону улицы, и Пират бросился догонять.

Машина выскочила из-за угла неожиданно, она, наверное, давно уже сторожила Пирата, как он, бывало, сторожил в тайге соболя, загнанного под корневища после долгой погони.

Пирата перевернуло, машина, зло рыкнув, умчалась дальше, а он, униженно визжа, пополз на передних лапах в сугроб...

Начало смеркаться, пошел неторопливый летучий снежок. Он оседал на спине, ушах, ресницах Пирата. И не таял: тепло покидало тело. Только глаза да кончик носа снег еще не мог засыпать, только они еще были живыми и теплыми.

И странно, наверное, было людям видеть эти живые глаза и темный кончик носа под шапкой белого снега. Некоторые останавливались, подолгу смотрели на Пирата.

Снега Пират не боялся. Застигнутый с хозяином в тайге непогодой, он сам зарывался в него, чтобы было теплее. Но сейчас Пирата страшило, что снег засыплет и глаза, и нос, и тогда хозяин уже не сможет его отыскать. Боялся — и все же лежал, не шевелясь: малейшее движение могло ожечь нестерпимой болью, да и не было сил, чтобы сделать это движение.

А снег все шел и шел.

Напротив остановились двое: один большой, другой очень маленький. Маленький человек держался за полу большого и спрашивал:

— Па, это что, собачка?

— Собачка, сынок.

— Чья?

— Должно быть, бездомная.

— Па, возьмем ее к себе, она будет домовая.

— Ну что ты выдумал, она скоро умрет.

— Возьмем, па, мама вылечит, она же доктор.

Маленький оторвался от полу и смело шагнул в снег. Упасть он не успел: большой подхватил его на руки, понес. Маленький заплакал и все тянул ручки к Пирату, пока оба не скрылись за углом.

Малыш напомнил Пирату сына хозяина. Как всякий порядочный пес, Пират тоже любил маленьких. С ними можно было держать себя запросто: лизать им щеки, откусывать прямо из рук от вкусных пирожков, прыгать через лужи, загонять, ради шутки, на столбы кошек. С ними не надо было опасаться, что сделаешь что-то не так и тебя накажут. Пират и сын хозяина вместе росли и крепко любили друг друга. Дружба началась с того времени, когда хозяин вынул Пирата из-под душной овечьей полы и передал в теплые, еще неумеренные руки сына. Эти маленькие руки не взяли его за шиворот, а только погладили по спине. И пахли они чем-то вкусным. Пират неуверенно вильнул хвостом и лизнул их...

На улице вспыхнули фонари, стало светлее, а у забора легла тень. Снег в свете фонарей вдруг превратился в белых бабочек.

...А кругом луг, на котором они с маленьким хозяином пропадали целыми днями.

Вот оба крадутся к цветку, на котором, то складывая, то распу-



ская бархатистые крылья, сидит очень нарядная бабочка. Они совсем уже близко от нее, и маленький хозяин — ладонь лодочкой — тянет руку вперед. Но бабочка сорвалась с места, замелькала в воздухе. Пират и малыш с криком и лаем мчатся за ней по луту, оба ничуть не огорченные, что бабочка улетела.

И вдруг новый, волнующий запах заставляет Пирата остановиться. Запах, дразнящий и волнующий, исходит, должно быть, из куста полыни, что перед носом. В нем чье-то тепло, чья-то жизнь. Пиратка старается понять, что это за запах, от которого все в нем замерло и напряглось.

— Что? — непонимающе шепчет малыш.

«Еще не знаю», — взглядом отвечает Пиратка. И тут замечает обыкновенную серенькую птичку, каких на луту множество. Эта почему-то не улетает, нахохлилась, открыла острый клюв.

— Ух, какая сердитая, — шепчет рядом маленький хозяин.

«Может, гавкнуть?» — спрашивает глазами Пиратка.

— Пойдем, а то она еще клюнет тебя в нос.

Пиратку уже клевал в нос злой петух, и он теперь знает что это такое — «клюнет». Пиратка смущенно пятится, отводя глаза в сторону, стыдясь в душе своей трусости...

Неужели маленький хозяин до сих пор не вспомнил о нем и не ищет? А может, бегаёт по всей улице и кричит: «Пиратка, Пиратка». Может, скоро прибежит сюда, увидит его и унесет в теплую конуру под крыльцом. Затухающим взглядом Пират всматривается в прохожих, которых становится все меньше и меньше. Люди больше не замечают его, они спешат в теплые дома, чтобы успеть накормить и Фингалов, и Валетов, и Жучек. Ему тоже, наверное, налили полную миску вчерашних щей с сахарной косточкой впридачу. И щи, и косточка стыннут около крыльца, а из соседнего двора уже призывно таякнула Пальма. Подожди, я только наскоро полакаю щей, а косточку принесу тебе. Потом до вторых петухов мы будем вместе бегать вокруг дома в игривой пляске, и ты увидишь, какой я статный, какой у меня красивый хвост — колечком. А в свободный день наши хозяева, может, пойдут на охоту, и я покажу тебе, как умею загонять зайцев. Только едва ли хозяин пойдет: за последние две зимы так ни разу и не собрался. Напрасно Пират каждый день звал его лаем, скулил, умолял глазами. И зачем только они переехали в город, где ни лис, ни белок, ни уток! Где крутом слишком много людей и машин, пахнет противным бензином.

Снег повалил крупными хлопьями. Он словно старался поскорее укрыть своим белым одеялом Пирата, согреть. Улица совсем опустела. Теперь Пират был бы рад, если кто-то увидел его, пожалел, как тот



«ЛЕТО». Рисунок ученицы 6 класса 13 школы Барнаула Люды Ярошенко.





«ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ». Рисунок ученицы 6 класса 69 школы Барнаула Наташи Ходорковской.



Пятый гол в воротах Канады.  
Мирнозаев 54 класс 7-б

«ПЯТЫЙ ГОЛ В ВОРОТА КАНАДЫ». Рисунок ученика 7 класса 64 школы Барнаула  
П. Мирнозаев.





На Севере.

Князевит Людм 6-5 класс

«НА СЕВЕРЕ». Рисунок ученицы 6 класса 13 школы Барна ула Людм Князевой.

мальщ, и взял в тепло. Надежды, что вернется хозяин, не было. Пират устало закрыл глаза.

Короткий сигнал машины на соседней улице показался очень похожим на крик утки-кряквы и напомнил первую охоту.

...Над лугами, что начинались сразу за деревней, в то утро зыбился легкий августовский туман. Только что поднявшееся солнце казалось за ним румяной булкой, какие пекла хозяйка, собирая их на охоту. Булки, должно быть, смазывали коровьим маслом — корочка на них была румяной, с хрустом. Пират не раз пробовал такие из рук маленького хозяина. Но сейчас ему было не до булок: его волновали плотные, дразнящие запахи, которые наплывали со всех сторон. Надо было разобраться в них, найти самый сильный — от утки-кряквы. Пират шел струнным шагом впереди хозяина, часто оглядывался. «Ищи!» — каждый раз приказывал взглядом хозяин.

«Кажется, здесь», — вытянулся Пират перед кочкой на самом берегу озера.

— Фас! — словно толкнул его вперед хозяин. Пират прыгнул.

Утка, должно быть, была молодая и глупая: она не взлетела на крыло, а нырнула в воду. За ней Пират.

— Глупый! — весело хохотал хозяин, пока Пират смущенно отфыркивался и стряхивал воду с шерсти. И вдруг раздался выстрел. Почти на середине широкого озера забила крылом подбитая птица. Пират, сразу забыв о только что принятой ванне, кинулся к ней. С какой гордостью он положил тогда к ногам хозяина свою первую добычу!

Потом хозяин почти ежедневно водил его на охоту. Теперь Пират легко различал по запаху бекаса от утки, след лисы от зайца. Но самое трудное и интересное было отыскивать верхним чутьем маленького рыжего зверька, что жил на кедрах. Зверек метался от дерева к дереву, прятался в дупла, затаивался на самой вершине. И надо было иметь хорошее чутье и острый глаз, чтобы найти его. Хозяин всегда оставался доволен...

Город засыпал долго и трудно: то вскрикнет словно во сне голосом паровоза, вздохнет прорвавшимся из котла паром, зазвенит звонком последнего трамвая. В этих звуках, шорохах, вздохах Пирату почувдится вдруг призывный зов марала, звонкая капель весны с дремучей глухариной песней, переличатый посвист луговых птах.

Однажды весной, когда вот так же трубили в горах маралы и бормотали на кедрах черныши, хозяин встретился в тайге с другим охотником, а Пират с незнакомой лайкой. Лайка и он выскочили на полянку одновременно и замерли от неожиданности. Лайка была совсем белая, как пушинка лебедя, как первая зимняя снежинка. Зе-



ленные лукавые глаза ее так и брызнули на Пирата веселым светом. Она первой отпрыгнула в сторону, приглашая поиграть в догоняшки. Но он был на целую зиму старше ее и потому степенней. Он сначала оглянулся на хозяина. Тот сидел с незнакомым охотником на валежнике и мирно курил. И тогда он принял вызов.

Лукавая лайка никак не давала себя догнать. Она виляла между деревьев, ныряла в заросли малинника, пряталась за кочки. Забыв о людях, о притаившихся кругом зверьках и птицах, он и лайка долго носились по тайге. Она была неутомима, эта белая Снежинка. Никогда игра не казалась Пирату такой забавной, никогда так не билось еще его сердце...

Они возвратились на поляну усталой рысцой. Охотники уже разожгли костер и пили чай. Снежинка легла у ног хозяина, Пират — рядом, положив на ее мягкую шею свою голову, готовый защитить ее от всякого, кто посмеет обидеть.

Это было лучшее время в жизни Пирата. Целых три дня их хозяева прожили около глухого таежного озера. Они, наверное, были друзьями и встретились после долгой разлуки — об этом можно было заключить из того, что они больше разговаривали у костра, чем охотились, — и Пират со Снежинкой были предоставлены самим себе.

С тех пор Пират не виделся больше с веселой лайкой, но воспоминания о ней будили теплоту в его сердце даже в этот предсмертный час. И он тихонько заскулил, точно заплакал о том времени, что больше никогда не вернется.

И вспомнилось ему, как они шли знакомой тропой к глухому таежному озеру. Пират ждал новой встречи со Снежинкой и, далеко опередив хозяина, выбежал на ту самую поляну. Но ни охотника, ни Снежинки здесь не было. Пират не поверил этому и начал кружить, отыскивая след. В это-то время он и услышал рев медведя, а следом — голос хозяина, зовущего его на помощь. Пират впервые встретился с медведем, но все же смело бросился на зверя, который успел уже подмять под себя человека. Медведь взвыл от боли и обернулся. Этого было достаточно, чтобы хозяин успел вскинуть ружье.

На этот раз они так и не дошли до озера. Над тайгой проносились стаи гусей и уток, а им пришлось вернуться домой: медведь успел поранить и Пирата, и самого хозяина. Так и не встретился больше Пират с белоснежной, как пух лебедя, Снежинкой...

Нет, хозяин не может не прийти.

Под грудью подтаяло, шерсть подмокла, но, странно, Пират не чувствовал больше холода. Наоборот, ему стало жарко, как в летний полдень. И он увидел себя точно со стороны, лежащим под забором с высунутым языком, с которого то и дело скатываются капельки слю-

ны. Рядом копошатся в пыли, чистятся куры. Откуда-то появился маленький хозяин, полез на спину Пирата. В такую жару это было уж слишком, и Пират припустил наутек. Он выбежал на луг, намереваясь поскорее достичь реки и окунуться, когда вдруг услышал тоскливый и в то же время призывный вой. Но это не был вой волка — Пират вдруг узнал голос своей матери, хотя почти и не помнил ее голоса. Мать тосковала и звала его к себе. Звала страстно, нетерпеливо. Острая жалость к ней, любовь — все разом проснулось в его душе. Забыв о хозяевах, о реке, не обращая внимания на вспархивающих из-под самых ног перепелок, он бросился на зов. Он спешил. Он торопился скорее отыскать ту, которая одна во всем мире вспомнила о нем, спешил, чтобы еще раз, хотя бы на миг, припасть к теплому паху, найти розовый сосок и пить, пить сладкое молоко.

Но кончился луг, а матери все не было, голос ее по-прежнему звал издалека. Пират не заметил, как проскочил лес и выбежал теперь уже на покрытое снегом очень широкое поле. Здесь царило белое безмолвие и ни кустика кругом, ни пенника. Силы оставили Пирата, он пошел шагом, потом пополз, а за ним безжизненно волочились задние ноги.

И тут он увидел мать. Рослая, с остроконечными ушами, с темным пятном на спине, как и у него, она стояла на пригорке и смотрела на него тоскующими глазами. Ему оставалось проползти совсем немного, он уже слышал дразнящий запах отяжеленных молоком сосков, когда позади услышал голоса людей, очень знакомых, но совсем сейчас не желанных.

Голос маленького хозяина звал:

— Пиратка, Пиратка! Папа, да где же он?

— Тут видели, — отвечал голос большого хозяина. — Найдем...

Последним усилием воли Пират открыл глаза, но ничего, кроме белой пелены, не увидел: снег уже засыпал его.



## РЕДКИЙ ЭКЗЕМПЛЯР

РАССКАЗ

Отправляясь к профессору Григорьеву, Светлана Сомова испытывала смешанное чувство стыда и облегчения. Почти полтора года не смела она войти в квартиру Виктора Николаевича. Наконец, только вчера, достали ей книгу, которую она искала все это время. Теперь не нужно больше избегать встреч с любимым учителем, и можно осуществить давнишнее желание — побывать в родном институте, который она окончила два года назад.

Выйдя из троллейбуса, Светлана любовно покачала на руке тяжелей, как кирпич, большой сверток и с надеждой подумала: «Хорошо бы Искры Теодоровны не было дома!»

Злоязычные парни утверждали, что Григорьев, так часто проводивший с ними вечера в своем домашнем кабинете, не приглашает к себе девушек из-за ревности жены. А студентки все равно ходили к нему, без приглашения. Побывала у профессора и Светлана; видела Искру Теодоровну и потом, вступаясь за нее, ругалась с ребятами.

— Бездушные вы! Пусть она моложе на сколько там лет, пусть красавица! Я бы на ее месте тоже ревновала. Ревнует — значит любит.

Те смеялись. О жене профессора говорили, что у нее не только имя редкое; она и сама — редкий экземпляр. И называли ее не иначе, как «Та Искра, которая тушит пламя». И еще прибавляли, будто Виктор Николаевич никогда ее не любил, а женился потому, что пожалел избалованную единственную дочку своего друга и наставника, оставшуюся одинокой и беспомощной после смерти отца.

Но что с них спрашивать, с этих зубоскалов!? Они и самого Григорьева прозвали «Одуванчиком» за белые волосы, и ее, Светлану, называли «Три-эс» за то, что имя, отчество и фамилия у нее начинаются с одной буквы. И вообще, давно известно, что студенты всех стран и всех веков болеют одной болезнью — любят насмешничать и давать людям прозвища. Поэтому Светлана не обращала внимания на разговоры о профессоре и его жене. Больше того, она была уверена, что они, сами того не подозревая, ревнуют Виктора Николаевича к жене. Впрочем, она и сама, когда встречалась с Искрой Теодоровной,

испытывала чувство неизъяснимого трепета. Быть спутницей жизни всемирно-известного человека! ...У нее, Светланы, например, не хватило бы для этого ни духовных, ни умственных сил.

Поднимаясь на второй этаж, Светлана пыталась представить себе, как встретит ее Виктор Николаевич. Возмутится, что так долго держала книгу? Догадается, что ее украли? Упрекнет, что сразу не сказала об этом? Или поймет, что не могла она ни сообщить, ни появиться ему на глаза, пока не «откопали» ее друзья этот экземпляр?

Улыбаясь, Светлана подумала, как удивится и обрадуется Виктор Николаевич, развернув сверток. Высокий, сутуловатый, он склонится к своей бывшей ученице, будет долго трясти ее руку большой мягкой рукой и с удовлетворением кивать крупной, совершенно белой головой. Потом забудет о присутствии Сомовой и просмотрит каждый листок драгоценной книги. Два года он ее не видел!

Когда Григорьев вручал Светлане «Каталог произведений искусства, собранных в Эрмитаже», он рассказал:

— Видите ли, это редкий экземпляр, их всего было пять. Книга издана при Екатерине Второй, в расчете на самый узкий круг владельцев: ей самой и ближайшим фаворитам. Для народа Эрмитаж тогда был вообще недоступен. Народ должно было держать подальше от всех видов знаний и просвещения. А с тогдашней интеллигенцией она тоже не считалась. Самой просвещенной Екатерина считала себя, хоть и писала «исчо», вместо «еще». Достался мне этот «Каталог» совершенно случайно, второй экземпляр вряд ли сейчас можно найти. Есть только в Библиотеке имени Ленина, с пометками самой Екатерины. Известно, что два из пяти сгорели в Москве в 1812 году. Может, сгорел и третий. Пока не установлено. Выходит, у меня — почти единственный. И я очень хотел бы сохранить его для потомков.

— Я не буду разлучаться с ним! — заверила тогда Светлана.

Но разлучиться пришлось. Ее послали в командировку на целый месяц. Командировка была неожиданной и срочной — она летела самолетом. Отвезти «Каталог» профессору уже не было времени. Взять с собой — не решилась: отправляется в неизвестную обстановку...

Потом, когда стало ясно, что командировка затягивается, Светлана написала матери: «В ящике стола под тетрадами с конспектами найди книгу и отвези ее нашему «Одуванчику». Адрес его ты знаешь». Ответ матери напугал: «Никакой книги я не нашла...»

«Мишка! — сразу догадалась она, вспомнив, как приходилось прятать от мужа сестры все ценные вещи. Теперь сестра развелась с ним. Михаил уехал неизвестно куда и «Каталог», видимо, продал за бутылку. — Что же делать?!» Светлана написала всем своим товарищам по институту, просила «перехватить» книгу в букинистиче-



ском, куда, наверное, сдал ее зять. Но «Каталога» никто не находил. И вот только вчера принес его Юрка Мартышин — самый отчаянный зубоскал из всех однокурсников.

— Здравствуй, Три-эс, — начал он. — Очень хотелось навестить тебя раньше, но не было повода. А теперь принимай нежеланного гостя: нашел для тебя «Каталог».

Светлана расцеловала «нежеланного гостя». Поздравляла его — ведь он нашел тот самый экземпляр, о котором было неизвестно, стorer ли он при Московском пожаре в 1812 году. Юрка по привычке насмешничал:

— Давай напишем на эту тему диссертацию!

...Перед дверью в квартиру профессора Светлана оробела. Сколько же горевал Виктор Николаевич о «кирпиче», который у нее в руках? Как же ей оправдываться? Не рассказывать же всю историю!

Наконец она решилась позвонить. Открыла незнакомая женщина. Светлане показалось, что она в парике. Бледно-сиреневые волосы были круто начесаны, ресницы явно не выдерживали груза обильной краски и невольно закрывали чуть не половину больших карих глаз. Стройную фигуру облакал мудреный халат из переливающейся материи с серебряной нитью. На ногах были сандалии с двумя золотыми ремешками.

— Простите, — смутилась Сомова. — Я, кажется, ошиблась.

— Разговор в дверях — это не разговор, — ответила незнакомка. — Проходите, пожалуйста.

Светлана переступила порог. В квартире Виктора Николаевича даже коридор был заставлен стеллажами с книгами. Здесь же, в обширном коридоре, пол которого натерт до блеска, ни одной полки, ни одной книги.

— Я вижу, профессор Григорьев переехал. Очень прошу, скажите, куда?

Женщина опустила тяжелые ресницы и томно произнесла:

— Туда не пускают живых.

У Светланы перехватило дыхание. Умер?! Незнакомка все поняла и даже оживилась:

— Разве вы не читали в газетах? Столько писали о нем!

— Когда? — выдохнула Сомова.

— Год и три месяца назад.

Значит, как раз во время ее командировки. Газеты на рыболовную флотилию доставлялись с большим опозданием, и она, выходя, пропустила сообщение о смерти профессора.

— А вы? Вы — Искра Теодоровна? — Светлана смотрела на нее и никак не могла узнать.

— Да. Вы, наверное, одна из учениц его?

Она спросила холодно, даже с какой-то скрытой насмешкой, а может и с той ревностью, о которой болтали мальчишки в институте.

— Нет, — заставила себя солгать Светлана, наливаясь неприязнью к этой чужой женщине. — Просто мне сказали, что он — страстный любитель книг. А у меня есть вот такой редкий экземпляр.

— О! Увольте! — подняла руки Искра Теодоровна. — Я и от тех еще не совсем избавилась. Вот видите!

Она распахнула дверь одной из комнат, в которой когда-то был кабинет Григорьева. Только два шкафа остались у боковой стены. У другой теперь стоял богатейший сервант, заполненный хрусталем, фарфором, безделушками из чешского стекла. В углу красовался огромный телевизор-комбайн. Рядом с тахтой новейшего образца разместился трельяж. А у окна, на месте необъятного профессорского стола — изящный столик на тонких ножках, судя по цвету — родной брат остальной мебели.

— Не хочу больше стеснять себя, — произнесла с вызовом Искра Теодоровна, видимо, сообразив по выражению лица Светланы, что перед нею все-таки ученица покойного мужа, бывавшая в их доме. — Вы же знаете, что я всю жизнь посвятила Виктору Николаевичу, ничего не могла себе позволить. У меня даже на парикмахерскую не было времени. Зато целыми днями я гонялась за этими... книгами! — Хозяйка так выразительно подняла плечи, обтянутые переливающимся халатом и так пренебрежительно сморщила губы, что Сомова невольно вспомнила прозвище, данное ей студентами: «Та Искра, которая тушит пламя».

Разговаривать с женщиной, вызывавшей прежде уважение и даже трепет, не было никакого желания. Светлана молча повернулась, чтобы уйти.

— Впрочем, — остановила ее вдова, — если вы просите недорого, то оставьте. По моему объявлению приходят многие. За небольшую цену возьмут и эту.

Девушка прижала книгу к груди:

— Она стоит больше, чем вся эта ваша рухлядь!

Резко повернулась и выбежала, не закрыв дверь.

...Выслушав гневный рассказ Светланы, Юрка Мартышин вздохнул и утешил, как маленькую:

— Не расстраивайся, деточка. Теперь ты убедилась, что Искра Теодоровна действительно редкий экземпляр. А Виктор Николаевич, наверное, был бы даже доволен: его книга попадет в руки людей, которым она нужна.



## Восьмистишия

### О ПРОПИСЯХ

Мы с детства объявляем прописям  
Войну, тотальную войну.  
Мы все торопимся, торопимся  
На высоту, на глубину.

И где-то у далекой пристани,  
На глубине, на высоте,  
Мы снова обретаем истины,  
И новые, и все же те...

### О ХРАБРОСТИ

Видно, храбрости две, а не просто одна,  
И живем мы, про это не зная.  
Нас пытала на храбрость большая война  
И осколок и пуля сквозная.  
Но бывает — не враз я бойца узнаю:  
Сто смертей он без робости встретил,  
И в разведку ходил, и не дрогнул в бою,  
Только этого в нем не заметишь.

### ЦВЕТЫ

До чего цветы капризны —  
Мало солнца, много влаги;  
Жди сюрпризов, жди сюрпри-  
зов,  
Коль цветы не из бумаги.

А бумажным — им неважно,  
Эти рады, чем богаты...  
Только вот, у них, бумажных,  
Не бывает аромата.

## ПЛОХОЕ СЛОВО «ПОЛУПРАВДА»

Плохое слово — «полуправда»,  
Куда точнее — «полуложь».  
От полуправды — прямо, прямо  
Не к правде, а ко лжи придешь.

Нельзя кипящую лавину  
Ни раздробить, ни раздвоить.  
И не бывает половины  
У правды, честности, любви.

## КАК МНЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ УВИДЕТЬ...

Как мне хотелось бы увидеть,  
Что было до сих пор незримо,  
Задеть, а может быть, обидеть  
Нетроганных, неуживимых.

Пройти лешачьими путями,  
Рукою небыли коснуться.  
Как мне хотелось бы!.. Ведь там и  
Живет искусство.

## СКРОМНЫЙ ПЕНЬ

Как наряжаются березы —  
Прекрасным женщинам сродни.  
О, как красуются березы!  
А серый пень всегда в тени.

Шумит листва, и птичье племя  
Не умолкает целый день.  
И только пень молчит все время...  
Ах, до чего же скромный пень!

## КРИТИК

Еще во времена Батыя,  
Карьерой взысканный не слишком,  
Бежал «в татары» из России  
Худой какой-нибудь князьишка.

Дивил татар свою прутью,  
Пытая пленных до рассвета...  
Таким порой бывает критик  
Из неудавшихся поэтов.

## СКЕПТИК

Гордился скептик скепсисом своим,  
Над вымыслом, как мальчик, не заплачет,  
Фантазию легко развеет в дым  
И не впадет в смешной восторг телячий.  
Гордился скептик, ядовит и крут,  
Бывало глянёт — кипяток застынет.  
Однажды скептик поглядел вокруг —  
Нет никого, совсем один в пустыне.



БЕЛЫЙ СНЕГ

Белый снег, белый снег!  
Ну какой же ты белый?  
То подернутый синью,  
то на солнце горишь.  
Утопают в тебе  
занесенные села,  
мономаховой шапкой  
свисаешь ты с крыш.  
Тени елей  
от низкого зимнего солнца  
по тебе, белый снег,  
широко распластались.

Да стоят величавые  
стройные сосны,  
да по снегу зверье,  
как могло, расписалось.  
Белый снег, белый снег,  
ну какой же ты белый!  
На твоём покрывале,  
словно искры зари,  
в самой яркой одежде  
опять зазелели  
наши зимние франты —  
твои снегири.

\* \* \*

Догорают в костре  
серебрясь, хворостинки.  
Я смотрю, как уходит,  
как гаснет огонь.  
И хожу я в лесу  
с непотухшей грустинкой.  
Лист, кружась, опустился  
ко мне на ладонь.

Я люблю журавлей  
за гортанную песню,  
за тревожащий душу  
торжественный крик,  
за парадный полет  
высоко в поднебесье.  
Как их мало я вижу —  
один только миг!

ЗИМОЙ

Ах, пора чудесная!  
Ни мошки, ни овода,  
Только неизвестно вот,  
Как спастись от холода.  
Только конь дорогою  
С пару задыхается.

Я мороз не трогаю —  
Пусть не задирается.  
Но надулось солнышко —  
Февралит метелица,  
И с теплом погодушка  
Не мычит, не телится.

\* \* \*

Закат налился красным гребнем,  
В печи дрова ерошат перья,  
Пылает алая плита,  
На печку повело кота...  
Известно это мне поверье:  
Гляжу в окошко на деревню —

Мороз, прозябший с улицы,  
В сенях у нас сутулится.  
Спешу, мороз, скорей на чай,  
Коль опоздаешь — не серчай.  
Да не ломись ты в дверь, мороз —  
Я пошутил, а ты — всерьез!



## ЛЕЙТЕНАНТ АТАЕВ

После одной очень тяжелой операции наш полк остался по существу без разведки — с «языком» из вылазки вернулись только двое: Иван Исаев и я. Меня вскоре отправили в недельный армейский дом отдыха — нервишки оказались жидковатыми, и я особенно тяжело переносил гибель двенадцати товарищей, polegших на моих глазах у амбразуры немецкого дота. К тому же и разведчиком я был еще малоопытным, поэтому обучать поступающих из пополнения новичков оставили одного Ивана Исаева.

В это время во взводе и появился лейтенант Атаев. Он был назначен новым командиром взвода полковой разведки вместо погибшего Кушнарева. Красивый туркмен с высоким лбом, умными карими глазами и темными волнистыми волосами, он заметно выделялся среди остального штабного народа. С первого взгляда становилось ясно, что он еще не фронтовик, еще не обстрелян — на нем была новенькая форма с двумя эмалевыми «кубарями», еще не обмятая и не запачканная; выдавало это и характерная для новичка угловатость, неуверенность. Говорил Атаев по-русски чисто, без малейшего акцента. К моему возвращению он уже освоился со взводом, хотя почти не вмешивался в занятия, которые проводил Иван Исаев, — лейтенант, наверное, сам приглядывался и учился у опытного разведчика дивизии. А новички уже проборно ползали между землянок, брали «в плен» то штабного повара, то какого-нибудь старшину или зазевавшегося связиста, которые отбивались на полном серьезе (на войне люди не любят играть «в войну»).

Занятия проходили вперемежку с боевыми заданиями, и новички имели возможность, что называется, на практике проверить «теорию», преподаваемую Исаевым.

Сейчас я уже не помню нашей первой совместной с Атаевым бое-

вой вылазки. Нет никакой записи по этому поводу и в моем дневнике того времени. Зато я хорошо помню Атаева в наступлении.

После того, как в ноябре сорок второго года была окружена армия Паулюса, более полутора месяцев наши войска накапливали и перегруппировывали силы для ее ликвидации. И вот десятого января сорок третьего года мы пошли в наступление. По предложению лейтенанта Атаева группа разведчиков была посажена на танки и выброшена десантом в тыл к немцам.

О десантниках много написано за последние годы, и я боюсь, что не скажу ничего нового и об атаевском десанте. Разведчики не громили вражеских аэродромов и стратегически важных коммуникаций, не захватывали штабов и ценных штабных документов. Они делали самую черновую работу солдата на войне — в ближнем немецком тылу неожиданно для противника открыли ураганную стрельбу, подняли панику и этим помогли нашей пехоте с ходу прорвать вражескую укрепленную линию. И еще могу с твердостью удостоверить: не один десяток жизней наших бойцов (кто знает, может, в том числе и мою) спас тогда десант. Не один десяток людей ходит сейчас по земле только благодаря инициативе, проявленной Атаевым. И они, эти двадцать, тридцать, а может, пятьдесят человек, не знают о том. Не знают и их дети и внуки...

Вот, собственно, и все, что мне особенно запомнилось из событий первых дней наступления на сталинградскую группировку, связанных с Атаевым.

Немцы почти не сопротивлялись. Боясь еще одного окружения внутри сталинградского котла, они на нашем участке откатывались так, что мы едва успевали их преследовать. При этом они сдавались в плен целыми подразделениями, поднимали руки и заученно долдонили: «Гитлер — капут!», «Гитлер — капут!». У нас уже не хватало людей сопровождать пленных. Начали собирать их в большие партии и только тогда отводить в тыл. А потом отправляли вообще без охраны — покажешь рукой прилизительное направление, да если еще при том скажешь, что там ждет кухня, то они сами бредут таким стадом в поисках лагеря для военнопленных.

Боеспособные же фашистские части откатывались все дальше и дальше к городу. Мы уже с ходу прорвали заранее заготовленные ими укрепленные линии по берегу реки Россошки, по древнему валу Анны Ивановны и подходили к тракторному заводу. Дальше отступать немцам было некуда — за спиной Волга, а на ее берегу советские части, которые стоят там намертво еще с осени сорок второго! Их не подвнешь. Да и куда отступать? Не в Сибирь же!

Вплотную к тракторному заводу мы подошли тридцатого января.



С тех пор минуло четверть века, а я, словно сейчас, отчетливо, до последней мелочи вижу исколупанные снарядами и пулями стены заводских корпусов, черный снег вокруг (по существу от снега осталось одно только название). Мы не окапывались — здесь и без нас было накопано столько траншей и дотов, что хоть свежую дивизию вводи и она, как в пучину, вся уйдет под землю.

Я не знаю, был ли это приказ сверху или, может быть, инициатива нашего командира полка майора Мецеракова, но надо было пойти к немцам с предложением сдать без дальнейшего кровопролития. Парламентером командир полка послал лейтенанта Атаева. Разговор этот происходил в моем присутствии — я только что вернулся с докладом с правого фланга, куда ползал для установления связи с соседней дивизией; дивизии наши в тот момент занимали по фронту такие участки, которые можно было проползти по-пластунски за час-два. Помню, как командир полка сказал Атаеву, чтобы он взял с собой переводчика. А Атаев ответил:

— По-моему, не надо, товарищ майор. Мы их не звали, а коль уж пришли, то будем с ними разговаривать по-русски!

Майор удивленно приподнял кукольную бровь, посмотрел на Атаева так, будто видел его впервые, кивнул головой.

— А что, пожалуй, правильно! По-русски будем говорить. Быть по-твоему! — Он улыбнулся, протянул лейтенанту приготовленный белый флаг. — С собой бери кося хочешь.

Атаев скользнул взглядом по мне, по верткому, влюбленному в него разведчику из новичков Петру Дееву и остановился на Иване Исаеве. Тот молча поднялся, поправил на плече автомат и замер, готовый со спокойной решимостью хоть в воду, хоть в огонь.

И вот они пошли. Это была незабываемая сцена. Шли они медленно, торжественно, неся над головой белый флаг. Стрельба прекратилась. Сотни людей смотрели на них с той и с другой стороны. А они шагали и шагали, внешне спокойные и неторопливые.

Может, я в чем-нибудь ошибусь, передавая рассказы и лейтенанта Атаева и товарища моего Ивана Исаева, может, перепутаю какие-либо детали, но я наверняка не ошибусь в главном — в передаче их ощущений, ибо все последующие годы нет-нет да и вспоминал об этом эпизоде, об этом парламентарстве; порой даже казалось мне, что я сам ходил тогда к немцам с флажком — до того четко и ощутимо представлял тот день.

И вот они идут. Глаза настороженные, глаза разведчика по привычке проворно обшаривают развалины заводских стен. А с той стороны на них смотрит множество пулеметов, автоматов, винтовок, противотанковых пушек. Всюду черные зрачки стволов, направленных в их

трудь! Если враз изрыгнут огонь — в клочья разнесут, доскуточка потом не соберут товарищи.

Расстояние до заводских развалин сокращается. Каждый из нас невольно считает их шаги. Уже позади остались одиноко стоящие кирпичные ворота со множеством разнокалиберных долбленных снарядов и пулями корявин. Осталось пройти не больше полусотни шагов. Но движения сами собой замедляются, словно, чем ближе к развалинам, тем плотнее становится воздух. И вот уже у лейтенанта, должно быть, нет сил преодолеть его сопротивление. Он остановился. Остановился и Иван Исаев. Они не смотрят друг на друга — глаза намертво припаяны к развалинам.

Из-за груды кирпичей вышли трое — офицер и два солдата и направились к советским парламентарам. Пожилой офицер с нескрываемой ненавистью смотрел на лейтенанта-туркмена. Глаза его, воспаленные, лихорадочные, покалывали Атаева. Атаев кашлянул в кулак, громко произнес:

— Советское командование предлагает вам безоговорочно капитулировать, сдаться на милость победителя!

Он смотрел офицеру в глаза нарочито вызывающе и прямо. Потом рассказывал нам, что в это мгновение мелькнула мысль: «Наверное, вся Европа склонялась к твоим ногам, фашист! А мне наплевать на тебя. Через час-два я погоню тебя в общем стаде с другими гитлеровцами за проволочную загородку...»

Видимо, эта мысль как-то отразилась на лице Атаева, потому что у немецкого офицера забегали под обветренной шелушащейся кожей комочки — как будто он глотал и никак не мог проглотить очень горькую пилюлю.

Офицер молча наклонил голову в знак того, что понял, повернулся и в сопровождении солдат пошел обратно.

Атаев стоял с опущенным флагом и провожал взглядом плотно обтянутую шинелью спину офицера.

Ждали долго. Мы тоже, казалось, были там же с лейтенантом Атаевым и Иваном Исаевым. Минуты тянулись, как вечность.

Наконец над обвалившейся стеной поднялся тот же офицер и крикнул теперь уже с открытым злорадством (этот крик, казалось, долетел даже до нас):

— Ми не принимайт фаши условий. Упирайтесь вон! Через пяйт минут ми откривайт огонь!

Мы никак не ожидали такого оборота. Нам почему-то казалось, что условия парламентаров всегда принимают — на то они и парламентары! Так, видимо, думал и лейтенант Атаев. Я помню только одно: шли они с Исаевым оттуда так же медленно и торжественно, как и



туда, словно они сознавали, что в эти минуты, в эти пять недолгих минут на них смотрят не только враги и друзья, но с вершин веков на них смотрит история!..

Через два дня сталинградская группировка немцев была полностью ликвидирована и пленные немцы стали восстанавливать разрушенный ими город. Среди этих тысяч был, наверное, и тот офицер, который с такой ненавистью смотрел на лейтенанта-туркмена и перед которым еще недавно ниц лежала вся Европа. А еще через неделю на отдыхе в балке Коренной я сделал в своем дневнике карандашный набросок. Теперь уж я не помню, специально позировал ли мне лейтенант Атаев или я рисовал без его ведома, только портрет, по-видимому, ему не понравился. Во всяком случае лейтенант остался к портрету равнодушным; поэтому-то он и сохранился у меня в отличие от других портретов моих товарищей — те выпрашивали и удачные и неудачные наброски, таскали их с собой, высылали домой или просто теряли. Теперь я очень жалею о той своей щедрости, с которой расшвыривал то неповторимое, что схватывал мой, хотя и неопытный, но все-таки цепкий глаз начинающего художника...

В моем дневнике есть еще одна запись, которую даже сейчас, четверть века спустя, я не могу читать спокойно. Запись эта датирована 23 июля сорок третьего года. Между Сталинградом и этой датой — полгода.

Много изменений за это время произошло — полгода войны куда богаче событиями, чем мирные полугодия! Кое-кто погиб, некоторых ранило. Атаев уже не был в нашем взводе — после Сталинграда его временно перевели командиром роты автоматчиков. С ним ушел и его любимец Петька Деев, невысокий, очень подвижный, с выразительными серыми глазами и большими девичьими ресницами, которые сводили с ума санбатовских медичек. Петька был ординарцем у Атаева. Роту автоматчиков сформировали из бывших курсантов одного училища, по какой-то причине расформированного. Атаев жил с ребятами очень дружно, относился к ним ну если уж не как к сыновьям — разница в возрасте была у них не бог весть какая, — то уж во всяком случае как старший брат к младшим.

Дата, о которой идет речь, относится ко времени пребывания нашей дивизии на орловско-курской дуге, к одному из самых страшных боев.

Я, конечно, не думал, что через столько лет мне придется опубликовать эту запись, я писал ее... собственно, не знаю, для чего я писал тогда. Вот она:

«Через несколько минут идем в наступление вместе с пехотой. Два батальона нашего полка и автоматчики погибли. Сегодня второй день наступаем на высоту и опушку леса — и почти никаких результатов.

Автоматчики за несколько минут полегли. Я в это время был на НП командира полка, и все поле боя в бинокль видно было, как на ладони. Их накрыла немецкая артиллерия на самой высоте. Через несколько минут и от нас тоже клочья полетят.

Ну, писать кончаю и, может быть, насовсем.

Прошу того, кто вынет у меня этот дневник, переслать моей матери и сообщить, где и когда я погиб (сейчас 20.00 московского времени)».

Вот все, что написано. Но события, которые кроются за этой лаконичной записью, вот уже два с лишним десятилетия не перестают — словно на закольцованной ленте — проходить раз за разом перед моим мысленным взором. На западной, возвышенной опушке леса окопались немцы, на восточной — наши, а посредине на поляне, ближе к немцам, большой взгорок. На него-то и шли наши батальоны, на этом-то взгорке и остались они лежать навсегда.

На этот взгорок и провожал при мне Атаев своих младших братьев-автоматчиков. Уверен: у него намного было бы меньше горечи в глазах, разреши ему командир полка пойти с ними вместе. Но приказ есть приказ: Атаев опять возвращался в разведку. Ребята проходили мимо него, подтянутые, сильные и красивые девятнадцатилетние — один к одному, как близнецы. Они коротко улыбались Атаеву, некоторые взмахивали на прощанье рукой.

Сто двадцать человек растянувшейся колонной спустились от НП к подножью холма, на ходу перестроились там в шеренги и вскоре уже по его уклону развернувшись цепями стали подниматься к вершине взгорка. Все, кто был на наблюдательном пункте, глаз не спускали с этой величественной (да, я не боюсь этого слова: красиво умирать не каждому дано!) картины: цепь за цепью, точь-в-точь, как это делалось на занятиях в училище, шли взводы на вражеские укрепления. Там-то, в нескольких метрах от вершины, и накрыла первую цепь немецкая артиллерия. Я до сих пор с поразительной четкостью вижу, как на месте движущейся цепи враз вздыбилась стеной черная земля: по пристрелянной черте ударили снаряды. Недвижно, замерев, долго-долго висела эта земляная стена в воздухе — снаряды и мины рвались непрерывно в течение нескольких минут. Потом, так же сразу, стена опала. У всех замерло сердце — уцелеть после такого артолета немислимо. И все-таки



частица цепи поднялась вновь и бросилась вперед. И снова — стена вздыбленной земли. Теперь уже били по этим остаткам. И только минуту спустя огонь перенесли на вторую цепь, потом почти с такой же интенсивностью — на третью.

На НП никто не шелохнулся. И хотя несколько часов назад на этом же взгорке полегли два батальона, гибель роты автоматчиков потрясла всех без исключения, потрясла не потому, что смерть всегда потрясает, даже на войне, а потому, что никто из нас не видел раньше такого зрелища. Весь штаб полка был ошеломлен... И вдруг среди наступившей тишины я услышал сдавленный стон, подумал, что кого-то ранило. Оглянулся: Атаев, закусив губу так, что по подбородку текла кровь, плакал. Он, не отрываясь, смотрел в сторону холма, а слезы текли и текли по его небритым щекам. Спазмы душили его. Потом он медленно и тяжело, словно нес на себе огромный груз, прошел мимо меня по траншее, вышел с НП, с размаху бросился на траву и зарыдал в голос, уже не в силах, наверное, сдержаться больше...

Через некоторое время оттуда, с холма, вернулся Петька Деев с горсткой ребят. Они до сих пор стоят перед моими глазами, как пришельцы с того света, почерневшие, осунувшиеся и молчаливые. Неузнаваем был и Петька Деев: прокопченная, изорванная гимнастерка, землистое лицо, в руках автомат с расщепленной ложей — ничего не осталось от той щеголеватости, которой научили нашего разведчика бывшие курсанты, его новые товарищи. К тому же Петька был контужен — он тряс головой, ничего не слышал и страшнейшим образом заикался. Словом, с холма вернулся совсем другой человек. Он подошел к Атаеву, обнял его и стал судорожно гладить по голове.

Вот после всего этого и появилась в моем дневнике та запись, которую я только что привел. Приказ командования был жестким: взять высоту во что бы то ни стало — она была ключом к очень важному стратегическому пункту. И вот, выполнить этот приказ должны теперь остатки третьего батальона и нашего взвода разведки. Конечно, вернуться с этого взгорка шансов почти не было, и мы мысленно прощались с жизнью.

Но на войне бывает много неожиданностей. Так случилось и на этот раз: немцы не стали больше испытывать судьбу, взяли и отошли под покровом надвигающейся ночи.

Вот и все, что я хотел рассказать о Ташли Атаеве, вот что напомнил мне небольшой карандашный набросок в дневнике.

Через несколько дней я был тяжело ранен и контужен. Меня эвакуировали в Эссентуки в госпиталь. Об Атаеве я ничего больше не слышал. А хотелось бы...

Может, ты жив, так откликнись, лейтенант!

## ГЛУХАРИНАЯ НОЧЬ

Николай разбудил нас, хотя за окнами еще стелился по-деревенски глухой мрак.

— Вставайте, ребята, к перевалу надо до света попасть.

Комнату освещала довольно яркая керосиновая лампа, и Николай по-кошачьи невесомо ступал по половицам: боялся разбудить детей, спавших в смежной комнате, за занавеской.

Невысокий, гибкий, с прищуром зеленоватых глаз, с эконоными крадущимися движениями, Николай напоминал лесного хищника, за мягкой неспешностью которого прячутся пружинная стремительность и расчет. Таким, видно, и надо быть лесному человеку: неслышным и настороженным. И хотя ходил по комнате, снаряжаясь в дорогу, мысленно был уже там, в лесу.

Дом Николая затерялся среди лесистых хребтов, в узком ущелье с благодатными лугами и скальными кручами. Недалеко, правда, змеится дорога в дальние горные совхозы. Но машины летом тут останавливаются редко. Чаще зимой, когда перевал заметают снегом верховые ветра и дорога местами становится непроезжей. Изредка у Николая ночуют шоферы, ожидая попутного трактора. Охотники же из-за дальности и трудности пути почти не наезжают к леснику. Вот и рад он свежему, нездешнему человеку. Угощает соленьями, вареньем из лесных ягод и спрашивает про городскую жизнь. Все-то ему интересно: какие фильмы идут, много ли продуктов в магазинах.

— Расскажи, Николай, как ты в Барнаул ездил, — улыбается его жена лукаво.

— Да ну тебя, — отмахивается тот, смущенно улыбаясь. — Приезжал как-то. На неделю. Пару дней вытерпел, а больше не смог, — виновато чешет затылок. — Машины так и спуют, людей много. Шумно и суетливо. Тесно мне там было, будто малую рубаху надел.

Все смеются, и он тоже. Потом просит:

— В городе-то больше нашего знают. Расскажи, как там, во Вьетнаме...

Детей давно спать уложили, а Николай все сидит за столом, подперев локтем голову, и слушает, и спрашивает про всякие новости. И верно, до утра бы просидел, да встать рано.

Николай надел куртку, почти сизую, отбеленную дождями с солнцем, с зелено-



ватыми нашивками лесника. Снял со стены ружье с тонким длинным стволом, подпоясался патронташем.

— Рыси забредают, — шепнул он. — Расплодилось, прямо невозможно. Напасть какая-то! Недавно я обход делал, делянку под вырубку столбил. Гляжу, в лощине следы свежие, рысьи. Возьму, думаю, зверя. Ну и вдогонку. А он, хитрюга, обогнул холм и за мной же крадется. Собак при мне не было. Оно, вишь, с собаками-то не всегда с руки. Бывает, одному способнее. Идешь себе тихонечко, приглядываешься, прислушиваешься. Зверя и птицу видишь, повадки их высматриваешь да примечаешь. Душе от этого удовольствие и польза. С хорошей-то собачкой, понятно, можно ходить, ежели ученая. А вот мне с собакой все не везет.

Николай присел на табурет, ожидая, пока мы оденемся и Боря соберет сумку с аппаратами и объективами.

— Годков десять назад взял я щенка, — продолжал он, — ничего собачонка оказалась. На глухаря, на лису, на белку — всюду шла. Прямо умница. Лишний раз не залает. — Вздохнул.

— Потерялась или..?

— Нет, и теперь при мне, да уж не та. Пустишь ее по следу, поплутает, поплутает, да и вернется. Ляжет возле ног и тоскливо-тоскливо так заскулит. Животное, вроде, лишено понятия, а чувствует: силы уж все израсходованы и нюх пропал. Старость, одним словом. Пускай живет, вроде как на пенсии. Заслужила.

Недавно другого песика взял. Тоже Дружком назвал. Имя-то удачливое, да одно расстройство с этим Дружком ходить. Сил много, а понятия ни на грош. Рванет по лесу, гонит все, что есть живого на пути. Сорока ли, заяц — ему нету разницы. Лишь бы гнать да лаять. Избавиться собирался, да ребяташки к нему привыкли. Ладно, думаю, пускай остается. Учить буду, может, и получится что. Помощник в лесном деле нужен мне. Особенно ночью.

— Страшно одному?

— Не в страхе дело, в тоскливости. Страх можно разумом приглушить, рассуждением. Тоску тяжелее сломить. А когда с тобой в лесу еще что-то живое — веселее. Собака, она и согреть и голос подаст на зверя. А в тот случай я, значит, без собаки был. Один. Иду, иду по следу и на душу беспокойность легла. Всегда ведь чувствуешь, когда за тобой кто-то следит. Шел, шел, да и обернулся. А рысь шагах в двадцати стоит и на меня глядит. И как лапу переставляла, так с поднятой лапой и замерла. Как бы растерялась.

Николай вдруг прислушивается, поднимается с табуретки, торопит нас.

— Ну, а рысь? — спрашиваем в голос, не понимая его внезапной спешки.

— А что рысь... убил. Вреда от нее лесной живности много. Глухарей на токах несчетно ловит. Тот распушится, начнет чужыркать и только в азарт войдет, рысь его — хватать. Чабаны жалуются: во время окота рысь свирепствует, — шепчет Николай и торопливо идет к двери, неслышно ступая старыми кирзовыми сапогами.

— Па-ап! — вдруг донеслось из соседней комнаты. — Па-ап, возьми!

И восьмилетний Сашка уже стоит рядом с ворохом одежды.

— Подкараулил-таки, — улыбается отец.

В голосе его нет недовольства. Сашка уловил благонастроенность отца, быстро натягивает рубаху и штаны.

— Нет, сынок, в другой раз. Дядя, — кивает на Борю, — будет глухарей фотографировать. К птице близко подползать надо. А когда много народу, сам знаешь — какая охота.

Сашка просительно поглядел на нас, но отец взял его за руку и увел спать.

— Хлебом не корми, лишь бы в лес, — смеется Николай. — Недавно всю ораву на токованье ночью водил. Всех пятерых, даже младшенькую.

— Пятилетнюю-то? — неподдельно удивились мы.

— А что, пускай с измальства к лесу привыкает. Сгодится в жизни. Лес, он, знаете... — Задумался, подбирая подходящие слова, да так и не нашел, махнул лишь рукой, словно досадуя на себя за косноязычие.

На дворе темно и тихо. Звезды не проклюнулись сквозь незидимые, туго спрессованные облака, и поэтому небо казалось низким и тяжелым. Ступками черноты проступали близкие домишки маленького села. Света — ни в одном.

Громко лая, к крыльцу подбежала собака. Лесник добродушно отогнал ее. Вывел из конюшни служебную лошадь Семиху. От нее шел дух теплой конюшни. Приласкал лошадь, кинул на круп два полшубка, чтобы в скрадке отогнать утреннюю дрожь, и мы двинулись к перевалу.

Впереди Николай ведет Семиху и шупает ногами дорожную колею, вдребезги разезженную куяганскими машинами. Следом — мы. Идем молча, бережем дыхание, спотыкаемся на льду. Под ногами тьма-тьмущая. Торопимся, боясь отстать от ходкого проводника.

Где-то сбоку по чуть синеватому оттенку угадываются горы. Молчаливые и сумрачные. Дрожь прокатывается по телу, как представишь там себя одного.

Молчим. И Николай молчит. Изредка оборачивается с одним и тем же вопросом:

— Устали? А то лезьте на Семиху.

— Нет, — отвечаем, — не устали, — хотя в висках стучит от тяжелой ходьбы и высокогорья. Усталость удваивается, когда не знаешь конца пути. Но перед лесником не хочется показать слабость. Он виду, может, и не подаст, но усмехнется в темноте снисходительно: дескать, городские, что с них возьмешь! Им на асфальте способнее...

Наконец Николай разгадал нас. Остановил Семиху, расправил лохматый ворох шуб на ее спине.

— Лезь, — сказал Боре, отягощенному аппаратами. — Ездил верхом-то?

— Ездил, — ответил Боря. Нерешительно потоптался, поправил на лошади ерзающую шубу. — Подсади, — шепнул мне.

Я обхватил Борю за ноги, поднатужился, поднял и двинул к Семихе сбоку. Осторожно, будто подкрадываясь. Семиха от нас шархнула.

— Испугалась, — засмеялся лесник.



Но из положения мы все-таки вышли. Николай поставил лошадь в колею, а Боря взобрался на снежный ком и отчаянно прыгнул на круп Сёмихи. Умогнулся, взялся руками за гриву, седла-то не было, и стал ждать, когда лошадь пойдет. Но лошадку верховая езда не устраивала и она стала танцевать, избавляясь от седока. Это ей удалось сразу. Боря молча скатился в колею, держа на вытянутых руках свою драгоценную сумку.

Николай стал корить лошадь, успокаивать. Но мы в голос сказали, что совсем не устали и пройти пешком по свежему воздуху очень даже полезно.

Про нетяжелое житье Сёмихи нам еще в Алтайском секретарь райкома комсомола рассказал такой случай.

Однажды в лесхозе на Николая нарисовали карикатуру в стенгазете. Какой-то самодеятельный, не слишком талантливый, но приметливый художник изобразил Краева, везущего на спине в гору свою лошадь. Николай в то время был в лесхозе. Видел рисунок и смеялся вместе со всеми.

— Что ж ты, Коля? — спросили его товарищи. — Кобылу держишь, кормишь, а ходишь пешком?

— Жалко животину, — под общий хохот серьезно ответил Краев.

Теперь мы сами убедились в этом и старались шагать бодро, чтобы Николай больше не предлагал лошадку столь нежного воспитания.

Впрочем, перевал близок, это чувствуется. Горы остаются внизу, в сплошной черноте, а здесь чуть светлее и ветерок потуже. Идти легче стало, подъем кончается.

Наконец лесник свернул с дороги на еле приметную, может, даже им самим протоптанную в снегу тропку, и мы оказались на перевале.

Небо над головой еще темное, но горизонт светлеет далеким восходом.

— Притомились? — Николай сбросил шубы на снег, пригладил рукавицей запотевшую шерсть лошади и привязал ее к дереву на длинную веревку, давая возможность кормиться у стога сена.

— Скрадок уж рядом. Во-он там, в кустах.

Мы забрались в искусно замаскированный шалашик, устланный сеном. В передней его части проделаны неширокие отверстия. Краев подправил их рукой, создавая хаотичность и тем самым скрывая присутствие человека. Потом наскреб под себя сухой подстилки и стал устраиваться поудобнее для долгого и неподвижного сидения.

То же самое сделали и мы. Окопались в сене по-лесниковски. Ноги опустили в углубление, чтобы не затекли.

— Разговаривать потихоньку можно, — сказал Николай шепотом. — Двигаться — боже упаси. Птичий глаз всякую беспокойность быстро ловит. Так что не шевелитесь. Скоро объявятся должны.

Мы затаили дыхание и стали смотреть в отверстия шалашика на близкие кусты. Склон был южный, солнце днем здесь щедрее, и оно обнажило землю от снега. Там, как сказал Николай, самое токовище.

Мы боялись шевельнуться. Было в этом напряженном сидении что-то от первобытных наших предков, сливающихся с зарослями в ожидании добычи.

В эти минуты я завидовал Николаю. Человек много веков назад вышел из леса. Не нужны ему стали острый, звериный нюх, ночная зоркость и охотничий инстинкт. А вот лесник острее чувствует окружающую природу. Глаз его цепче хватается за ночные тени. Слух различает далекие, неясные для нас звуки. И не просто различает, а реально представляет источники звуков и свое отношение к ним: равнодушное или заинтересованное. Природа благодарила верного ей человека и возвращала ему то, что навеки потеряно для других, оторванных от леса людей.

Но почему я, городской житель, не отличающий ель от пихты, тоже затаился в ожидании, тревоге, почему мышцы у меня напряглись, и прижимаюсь я к земле, стараюсь быть незаметным? Ведь не на промысел пришел. Ни мяса, ни шкуры от лесных обитателей мне не надо. Почему же кровь будоражится от слабых лесных криков и писков? Почему сладко и жутко сжимается сердце? Неужели и через века просыпается первобытный инстинкт, слабый, как эхо, но который все еще связывает человека с природой и не обрывается совсем?

Было торжественно и тихо. Кроны берез и лиственниц еле заметно проявлялись из тьмы, а размытые контуры гор обретали дневную четкость и уже не пугали неизвестностью. Наступал тот предутренний миг, когда все живое затихает до первого солнечного луча, копит силы для криков, свиста, рычания, для погони за слабыми, для защиты, для ярости и нежности, для добывания корма и продолжения потомства. Рубеж между днем и ночью. Томительный, тревожный и радостный. После него кто-то погибнет, станет пищей. Кто-то останется бегать, летать, прыгать...

— Вон старая засохшая лиственница, видите! — горячо зашептал Николай. — Возле нее пролетели глухари. Парочка.

Мы поглядели на лиственницу, но ажурная паутина ее ветвей была прозрачной.

— Может, не прилетят больше? — запасались мы.

— Прилетят, куда денутся, — успокоил лесник. — Они тут завсегда токуют. До двадцати штук иной раз собираются.

— А если на этот раз другое место найдут для тока? Лес-то большой, полян вон сколько!

— Лес-то, верно, большой, — сказал со значением Николай, — и полян хватает. Да только у каждой птицы, зверя свое любимое место. Красивше есть, а роднее — нету. Где первое гнездо или нора — там и дом... Да что птица! Возьми человека... К примеру, Баранчу нашу. Моя мать тут родилась, отец тут родился... Хотя, правда, есть такие, — нахмурился он, очевидно, вспомнив про кого-то. — В теплые края! А разве у нас места хуже?

— Конечно, не хуже.

— Ну вот. Зачем же к морю? Сюда надо.

— Многие лечиться туда едут.

— Лечиться! — ехидно усмехается Николай. — Здесь воздух от чего хочешь излечит. А по-моему так: людям надо чаще в лес наведываться. Только без ружья.



А то другой мужик в лес без ружья и идти не может. Ему, видишь, мало просто глядеть, он с корыстью идет.

— Ты ведь тоже с ружьем.

Николай потрогал ствол ружья, отодвинул в сторону:

— Я — другое дело. Мне положено. Где вредного зверя уничтожу, где браконьера припугну. Браконьер почтительнее разговаривает, когда ружье видит.

— Ты же лесник, не егерь.

— Мне один так же сказал, только я его... того...

— Как это... того?

— А вот так!.. Пошел, значит, я кедровую плантацию проверить и наткнулся на браконьера. Тот на козлов промышлял. Вишь, весна, нижние склоны подтаивают, травка пробивается. Зверь на высокогорье проголодался. Претит ему сухая прошлогодняя трава. Он и спускается вниз за витаминами.

Браконьер, мужик здоровый такой. Увидел меня — и ходу. По чаще медведем прет. Было от чего уходить. Двух козлов свежевал. Я, значит, за ним. Места лучше знаю, обошел.

— Стой!

Он остановился. Руки в крови и шерсти. Улики.

— Ты что, говорю, не знаешь, что козел запретное животное?

Мужик глядел, глядел на меня, да легко засмеялся:

— Фу, — говорит, — напугал ты меня. Показалось — егерь.

— А тебе легче, что я лесник?

— А то как же, — смеется, — егерь за зверей ответ держит, ты за лес. А раз я деревьям вреда не принес, ты не допрашивай и ступай, куда шел.

Разозлил меня. Давай, приказываю, ружье и бумаги. Глаза у него нехорошими стали. Вижу, рука, что ружье держит, напряглась. Пропать можно, если не действовать. Делаю на лице испуг. Гляжу мимо него, будто там невесть что увидел.

Он оглянулся. Я разом ружье вырвал и отскочил. Мужик обмяк, а крыть нечем.

— Садись, — приказываю, — на пень. — Николай тихо засмеялся. — Целых полчаса ему лекцию про лес читал.

— Лекцию?

— Ага. Все рассказал, что с курсов вынес. А начал так: «Деревья — еще не лес, а древостой. Лесом называется древостой, в котором живут звери, птицы». Не знаю, может, и не по-ученому, зато верно.

— И он слушал?

— Сначала перебивал, матерился. Потом вроде даже заинтересовался. Да и вправду, какой лес без живого? Кедровка орехи в землю прячет — деревья возрождает. Дятел червяков выколупывает — деревья лечит. Каждая тварь лесу пользу приносит. Так уж все устроено: одно без другого не живет. Искоренишь живое — лес захиреет. Все притерто, подогнано...

Я поглядел наружу, на недалекое сухое дерево, и увидел двух глухарей. Они

сидели на прогнувшейся ветке и, вытянув шеи, глядели на наш, уже размаскированный утренним светом, шалашик.

С других полян неслись страстные крики и самозабвенное брачное пение лесных петухов, влюбленных, драчливых.

— Это далеко отсюда, — пояснил лесник, — и глухари там другие.

Нам очень хотелось, чтобы птицы с этого тока не улетали токовать на чужие места. Но кроме этих двоих, на сухом дереве, никого больше не было.

— Прилетят еще! — бодро сказал Боря.

— Должны, — не очень уверенно поддержал Николай.

Солнце, свежее, еще не яркое, медленно протянуло трепетные шупальца из-за пламенеющего края горы и над сеткой березовых ветвей, еще не набравших лист, вспыхнул золотистый ореол. Каждая веточка высветлилась и заиграла радужно.

И будто по сигналу засвистело и запищало вокруг пестрое птичье население, радуясь новому утру.

Солнце золотым прожектором поднималось все выше и обнимало лучами горы, деревья, зверей, птиц, каждую травинку.

Два глухаря, качнув ветку, улетели куда-то в чащу. Николай проводил их просветленным, без сожаления, взглядом:

— Нарушили мы им праздник, — только и сказал, стряхивая с лесницы куртки шерсть от шубы и мелкую солому.



Читатели,  
писатели,  
книги

Георгий КОНДАКОВ

## ГОРЬКИЙ И ГОРНЫЙ АЛТАЙ

Горный Алтай...

В стране белоснежных горных вершин и малахитовых озер ни разу не был Алексей Максимович Горький, но он знал этот край по тем стихам, рассказам, повестям, которые сибирские поэты и писатели присылали ему и в которых воспевалась могучая красота суровой и сказочной стороны, называемой в народе Беловодьем. О земле алтайской писали Г. Вяткин, И. Тачалов, Г. Гребенщиков, В. Шишков, В. Бахметьев, В. Зазубрин, Вс. Иванов, чьи книги были хорошо знакомы великому писателю.

В архиве А. М. Горького среди многочисленных книг, посланных в дар писателю, хранится и сборник стихов сибирского поэта Георгия Вяткина «Алтай», изданный в 1917 году в Омске и посвященный Горному Алтаю.

Личные встречи сибиряков Г. Вяткина, В. Шишкова, Г. Гребенщикова с А. М. Горьким не проходили без разговоров о Сибири, о Горном Алтае. Об этом свидетельствуют письма и воспоминания названных авторов.

Чтобы не быть голословным, я сошлюсь на одно письмо, уже давно ставшее известным читателю. Писатель-сибиряк Г. Гребенщиков в одном из писем обращался к Алексею Максимовичу с таким предложением: «Меня все терзает мысль: неужели Вам не удастся посмотреть Сибирь и особенно Алтай? Я не теряю надежды, что в качестве «проходящего» Вы придете к нам в горы и увидите, что это за величие дикой красоты... Может быть, и удастся мне искусить Вас... мы уже изыскали способы, как бы обрядить Вас, чтобы Вы сошли за какого-либо «ходока» или старовера-искателя «Беловодья»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Сб. «Горький и Сибирь», Новосибирск, 1961, стр. 103.

Горький в феврале 1913 года ответил на это приглашение так: «На Алтай я, должно быть, не попаду. Куда мне ездить? Я человек сидячий, полежать некогда».<sup>1</sup>

Алексей Максимович как писатель-интернационалист очень интересовался жизнью, культурой, бытом народов, населяющих Горный Алтай. Вот он узнает от сибиряков, что на Алтае живет и работает талантливый художник Г. И. Гуркин, выходец из коренного населения, ученик знаменитого И. И. Шишкина. В письме от 14 сентября 1911 года Гребенщиков писал сибирскому ученому и путешественнику Г. Н. Потанину о Горьком следующее: «Очень интересуется Гуркиным и просит через меня Гуркина прислать ему (Горькому — Г. К.) репродукции картин...»<sup>2</sup>

Года через два после знакомства с письмом Гребенщикова мне удалось прочесть письмо самого Горького, хранящееся в настоящее время в его архиве в Москве и не вошедшее в сборник «Горький и Сибирь». Как явствует из письма, датированного июлем 1911 года, пролетарский писатель узнал об алтайском живописце от художников В. Фалилеева и М. Щёголева.

В апреле 1911 года в Барнауле состоялась выставка картин Г. И. Гуркина. Г. Гребенщиков послал Горькому несколько снимков с работ алтайского художника. Но по фотографиям трудно было судить о мастерстве живописца, поэтому Алексей Максимович обратился к Гребенщикову с просьбой прислать «репродукции картин».

Передал ли Г. Гребенщиков просьбу пролетарского писателя Г. И. Гуркину? Если передал, то как к этому отнесся сам художник? Эти вопросы остаются пока без ответа.

О Гуркине А. М. Горькому приходилось слышать и читать и в советское время. Так, в 1929 году в журнале «Наши достижения» была опубликована статья Сергея Мара (Маркова — Г. К.) «Обновленные племена», которую великий писатель назвал «весьма неплохой», автора ее — «осведомленным человеком». Немало места в статье было отведено рассказу о возрождении культуры алтайского народа, в частности о творчестве Г. И. Гуркина. Автор писал: «Другому большому алтайскому художнику Г. И. Чорос-Гуркину досталась большая задача иллюстрирования первых алтайского и танну-тувинского задачника и букваря. Чорос-Гуркину удалось сделать учебники простыми и понятными для черноголовых детей».

Из этой статьи А. М. Горький узнал и о другом талантливом алтайском художнике — Николае Ивановиче Чевалкове. Вот что пишет

<sup>1</sup> Сб. «Горький и Сибирь», Новосибирск, 1961, стр. 100.  
<sup>2</sup> ЦГАЛИ, ф. 381, опись № 1, ед. хр. 44, л. 226.



о нем С. Мар: «Столица Ойротии Улала имеет собственную художественную студию, которой руководит туземный художник-самородок Чевалков. Его зовут Гогеном из Улалы, хотя Чевалков никогда не слышал об этом большом французском мастере, жившем на Гаити. Картины Чевалкова привлекают взгляд зрителя своей необычайной простотой и яркостью красок».

С Горным Алтаем А. М. Горький знакомился и через художника С. М. Прохорова, с которым впервые писатель встретился летом 1910 года на Капри. Прохоров в том же году переехал на постоянное жительство в Томск. Через художника писатель узнавал о том, как живет «великая Сибирь».

Лето 1912 года С. М. Прохоров провел в Горном Алтае, на этюдах. Результаты этой поездки были прекрасны. Горький узнает об этом и с восторгом пишет И. И. Бродскому: «А Сергей Марков (Семён Маркович — Г. К.) Прохоров лето прожил в Алтайских горах, на Уймо-не, привез оттуда в Томск 16 этюдов, и старейший сибиревед, знаменитый этнограф Потанин, написал по поводу прохоровской живописи большую статью в «Сибирской жизни» (1912, № 205, 14 сентября — Г. К.) Знай наших!»<sup>1</sup>

Несмотря на то, что А. М. Горький не был в Горном Алтае, он хорошо ориентировался в культурной и экономической жизни этого края. В коротеньком письме писателю Михаилу Никитину, сотрудничавшему в журнале «Наши достижения», есть такие слова: «Написал в Москву, чтобы Вам выслали деньги для поездки на Алтай. Может быть, дадите очерк и о мараловодстве? О колхозах тоже надо. О хорошей школе крестьянской молодежи. О пионерах — в их практической общественной работе».<sup>2</sup>

Мы знаем о том, что А. М. Горький с большим уважением, с глубоким пониманием относился к устно-поэтическому творчеству не только русского, но и других народов. На Первом Всесоюзном съезде советских писателей он призывал художников слова братских литератур: «Повторяю: начало искусства слова — в фольклоре. Собирайте ваш фольклор, учитесь на нем, обрабатывайте его. Он очень много дает материала и вам и нам, поэтам и прозаикам Союза. Чем лучше мы будем знать прошлое, тем легче, тем более глубоко и радостно поймем великое значение творимого нами настоящего».<sup>3</sup>

Горьковский призыв был услышан писателями и поэтами нашей многонациональной страны. Многие из них стали выдающимися про-

<sup>1</sup> М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах, т. 29, ГИХЛ, 1955, стр. 271.

<sup>2</sup> Сб. «Горький и Сибирь», Новосибирск, 1961, стр. 170.

<sup>3</sup> М. Горький. О литературе, М., 1953, стр. 729.

лагандистами устной поэзии родного народа. Это в первую очередь относится и к алтайскому писателю Павлу Кучияку, делегату Первого Всесоюзного писательского съезда. Вклад Кучияка в алтайскую фольклористику исключительно велик. Это справедливо отмечает и такой большой знаток устной поэзии гор, как Афанасий Коптелов.

Но все это лишь косвенные свидетельства влияния пролетарского писателя на П. Кучияка как фольклориста. Это же самое мы можем сказать и о В. Зазубрине, А. Коптелове и других сибирских писателях, которые занимались сбором и изучением алтайского фольклора.

Некоторые уже известные исследователям алтайского фольклора факты и новые архивные материалы дают возможность говорить о связях Горького с алтайским фольклором. Оказывается, А. М. Горький интересовался, принимал участие в редактировании или давал оценку произведениям устной поэзии алтайцев.

Исследователям алтайского фольклора известно, что А. М. Горький просматривал и рекомендовал к публикации некоторые алтайские народные песни, которые были напечатаны в журнале «Колхозник» (№ 8, 1935). Перевод этих песен был сделан поэтом Василием Непомнящим. Мне удалось разыскать высказывание переводчика об этой работе. Он говорил на краевой литературной конференции в мае 1936 года в Новосибирске: «Я обижен за ойроты, когда тов. Алексеев (Никандр Алексеев — Г. К.) говорил, видите ли, они не создали новых песен, которые были бы на высоте пафоса, которые бы были интересны. Песни эти есть. Я знаю, что эти песни Алексею Максимовичу Горькому понравились. Я счастлив, что в «Правде», в ленинском номере, помещены эти ойротские (алтайские — Г. К.) песни».<sup>1</sup>

В восьмом номере журнала «Колхозник» за 1935 год было опубликовано восемь алтайских песен, в которых отразились приметы нового и показано рождение новых чувств у бывших кочевников. Это в первую очередь относится к песне «Автомобиль»:

Я сегодня встретил на дороге  
Быстро, как молния, коня:  
Голубой, бесхвостый, круглоногий,  
А в глазах больших — снопы огня.  
Он летел-гудел! И вот большая  
Радость пенится в моей груди:  
Это счастье нового Алтая,  
Время новое — летит-гудит!

<sup>1</sup> Государственный архив Новосибирской области, ф. № 1597, оп. № 1, ед. хр. № 53, л. 154.



Лучшие алтайские народные песни привлекли А. М. Горького своей лиричностью, душевной теплотой, свежестью образов. Вот лирическая песня «Разговор с любимой»:

На горах заоблачных Алтая  
От ветров и солнца снег не тает,  
Милая моя и золотая.  
Я хочу сказать: как снег Алтая,  
Пусть моя любовь к тебе не тает,  
Милая моя и золотая.

В газете «Правда» от 21 января 1936 года, как указывал поэт Василий Непомнящих, напечатаны две алтайские песни: «Посмотрите, веселые лица» и «Ленин! Кто же его не знает?», записанные в колхозе им. Карла Маркса Онгудайского аймака.

Через руки А. М. Горького прошло другое, очень значительное произведение устного народного творчества алтайцев — поэма «Зажглась золотая заря». Существуют разные точки зрения об истории создания этой легенды. Одни утверждают, что легенда была записана со слов колхозника Д. Юдакова, другие считают, что это оригинальное произведение принадлежит перу самого Кучника. Существуют противоречивые взгляды и на то, кто был переводчиком легенды. Большинство склонно считать Демьяна Бедного (это подтверждено многими фактами). Есть и другая версия, не подкрепленная документально, но утверждающая, что переводчиком был В. Зазубрин. Возможно, первоначальная обработка легенды и была сделана автором «Двух миров». Но документов, подтверждающих эту версию, пока не обнаружено.

В середине тридцатых годов по инициативе А. М. Горького был организован альманах «Творчество народов СССР», в первом номере которого и была напечатана легенда «Зажглась золотая заря». Есть устные свидетельства, что это выдающееся произведение алтайской литературы было высоко оценено пролетарским писателем. Можно предположить, что отношение А. М. Горького к этой поэме было известно Д. Бедному, который назвал легенду гениальной. Ею открывался сборник «Творчество народов СССР», изданный «Правдой» в 1937 году.

Крупнейшим произведением устного народного творчества алтайцев является сказание «Когутэй», записанное еще в 1914 году от сказителя М. Юткананова. Это произведение в свое время получило высокую оценку писателя В. Зазубрина. Автор «Двух миров» писал об этой поэме: «В ней ... с большим искусством собраны все наиболее типичные и выразительные образы богатого языка алтайской народной поэзии. Сказка о бобрёнке вместе с тем превосходит все другие произведения подобного рода на Алтае своим сложным и совершенным сюжетным построением».

ем. В ней читатель найдет и мировые сказочные сюжеты, но, повторяем, вплетены они необычайно искусно. Если ко всему этому добавить исключительное содержание, то читатель должен будет признать, что перед ним — один из редкостных, прекраснейших образцов алтайского народного творчества».<sup>1</sup>

В. Зазубрин, литературно обработавший поэму «Когутэй», послал ее в 1933 году А. М. Горькому. В это время Горький был болен. Вместе с алтайским сказанием писатель получил и письмо Зазубрина, в котором были такие слова: «Надеюсь, что болезнь Ваша ненадолго. Очень хочу Вас увидеть здоровым и как можно скорее. Так как разговаривать Вам нельзя, а читать, вероятно, можно, то я решил передать Вам алтайскую сказку о «Бобренке». В чтении она легка и Вас не утомит, а может быть, даже и порадует. О ней я с Вами говорил в прошлом году, и Вы тогда заинтересовались и просили ее в альманах. В прошлом году она у меня не была готова. Ее я частично использую в своем романе «Горы». Целиком она, по-моему, может быть напечатана в Вашем альманахе».

Вскоре А. М. Горький прислал письмо с теплым отзывом об этом произведении устной поэзии алтайцев: «Бобренок» очень интересная вещь и неплохо сделана, но для альманаха — велика и «затяжелит» его. Буду убеждать «Академию» выпустить отдельным изданием, а Вы предложите рукопись «Миру» или «Нови».

В письме А. М. Горького были и незначительные критические замечания, как-то: «Бобренок» слишком по-русски звучит, лучше бы замечать ойротским — алтайским? — именем животного».<sup>2</sup>

Замечание это было учтено В. Зазубриным. Сказание стало называться «Когутэй» и было вначале опубликовано в журнале «Новый мир» за 1933 год, а в 1935 году вышло отдельной книгой в издательстве «Academia». Таким образом, первая, наиболее крупная публикация алтайского героического эпоса на русском языке в советское время осуществлена по инициативе великого художника слова, энциклопедичность интересов которого всегда поражает.

Говоря о доброжелательном отношении А. М. Горького к отдельным произведениям устной поэзии алтайского народа, я хочу подчеркнуть такую мысль. В настоящее время, несмотря на относительную изученность огромного горьковского наследия, все же остается много проблем и вопросов, которые требуют своего решения. Я приведу такой пример. В 1926 году в Новосибирске был издан сборник алтайских сказок в обработке поэта-сибиряка Георгия Вяткина. Иллюстрации к

<sup>1</sup> «Новый мир», № 12, 1933, стр. 52.

<sup>2</sup> Архив А. М. Горького, т. 10, книга вторая, стр. 379—380.



этой книжке были сделаны алтайским художником Г. И. Гуркиным. В письме от 21 февраля 1926 года Г. Вяткин сообщал А. М. Горькому: «Одновременно с этой открыткой посылаю Вам свою новую книжку «Алтайские сказки». Прошу Вас написать о ней пару слов — Ваш краткий отзыв, если найдется для этого время».<sup>1</sup>

А. М. Горький на это письмо Г. Вяткина ответил: «...загружен работой так, что до осени не могу исполнить Ваших просьб. Рукопись советую послать в Гиз, в Москву, я буду там в конце мая, посылайте на мое имя, и я попробую устроить так, чтобы к осени ее издали».<sup>2</sup> Какова дальнейшая судьба этой рукописи сказок, пока не известно.

Алтайская литература рождена Великим Октябрем. Ее становлению и развитию способствовал и А. М. Горький. Опыт пролетарского писателя имел и имеет огромное значение для формирования и возникновения отдельных литературных жанров в алтайской прозе.

Вот что пишет о работе Павла Кучияка над автобиографическим романом «Адыок» А. Коптелов: «Работал он с повышенными требованиями к себе и очень волновался — перед ним стояли такие бессмертные произведения мировой литературы, как «Детство» М. Горького...»<sup>3</sup>

Интересно такое признание П. Кучияка, записанное им в дневнике после прочтения трилогии М. Горького «Детство», «В людях», «Мои университеты»: «Произведения великого писателя открыли мне глаза на секреты художественной прозы. Я многому научился у него».<sup>4</sup>

Следовательно, сам писатель говорит о тематической зависимости своего романа от автобиографических произведений А. М. Горького.

Эти творения гениального русского художника оказали влияние не только на алтайского писателя. Они послужили толчком для создания автобиографических повестей казахского писателя Сабита Муканова «Мои мектебы», классика таджикской литературы Садриддина Айни «Школа» и др. Но в этих произведениях так же, как и в романе алтайского писателя, нашла отражение та национальная почва, та самобытная жизнь, которая была характерна для казахского и таджикского народов. В рамки биографического жанра, великолепно разработанного А. М. Горьким, П. Кучияк вложил оригинальное содержание, отражающее специфические стороны быта и культуры алтайского народа.

Из представителей алтайской литературы лично с А. М. Горьким встречался Павел Кучияк. Эта встреча произошла во время Первого Всесоюзного съезда советских писателей.

<sup>1</sup> Сб. «Горький и Сибирь», Новосибирск, 1961, стр. 110.

<sup>2</sup> Сб. «Горький и Сибирь», стр. 111.

<sup>3</sup> А. Коптелов. Мои современники. Барнаул, 1963, стр. 69.

<sup>4</sup> Цитируется из статьи С. Суразакова «40 лет алтайской советской литературы» в сб. «В братской семье народов СССР», Горно-Алтайск, 1962, стр. 70.

3 сентября 1934 года П. Кучияк вместе с делегацией писателей Западной и Восточной Сибири был в гостях у пролетарского художника слова. Разговор шел о самом разном: о работе журналов, об издании новых книг сибиряков, о помощи писателям малых народностей и многом другом.

Быстро пролетело время, отведенное для беседы. А. М. Горький, прощаясь, крепко пожал руку Павла Кучияка и посоветовал ему: «Пиши историю своего народа».<sup>1</sup>

Исторический путь алтайского народа достойно отражен в поэзии, прозе и драматургии П. Кучияка, художественное мастерство которого росло от книги к книге. В творческом росте алтайского писателя большую роль сыграл и А. М. Горький.

Великий писатель-интернационалист А. М. Горький не только помогал практически развитию литератур народов СССР, но и многие его книги стали достоянием национальных культур. За годы советской власти десятки замечательных произведений пролетарского художника слова переводились на алтайский язык. Среди них — «Мать», «Детство», «В людях», «Мои университеты». Стали достоянием алтайского читателя и «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике», рассказы «Челкаш», «Макар Чудра», «Старуха Изергиль» и многие другие. Эти факты — еще одно яркое свидетельство эстетического взаимообогащения литератур нашей страны.

---

<sup>1</sup> См. брошюру С. Суразакова «П. В. Кучияк», Горно-Алтайск, 1957, стр. 16.



## ПЯТЬ САМЫХ ПЕРВЫХ

Алтайское книжное издательство выпустило в свет новую поэтическую кассету. Первая, изданная в 1966 году, имела успех у читателей. Вторая, вышедшая два года спустя, тоже не залеживается на полках. Книжки дебютантов читают, о них спорят, их сравнивают. Ну, а поскольку книжки «общезития» совсем разные, их авторы получают возможность критически оценить первые строки, увидеть зрелые и несостоятельные стороны своего поэтического возраста.

Разумеется, в этих заметках мы собираемся не только сравнивать молодых поэтов друг с другом. У каждого из пяти дебютантов что-то свое уже есть, и эти строки пишутся скорее для того, чтобы рассказать читателям альманаха об интересе, который вызывает к себе каждый из молодых поэтов.

Сначала поделимся впечатлениями о первой книжке Александра Эдокова. Прежде всего, о ее названии. «Синегория» — выбор, мне кажется, очень точный. Синегория — такой страны в географии нет. Называют этим именем край молодости и романтики (вспомним хотя бы книгу Л. Кассиля «Ранний восход»). Но Александр Эдоков придал этому слову многозначность. Ведь край юности и исканий у автора один — Горный Алтай, страна синих гор. «Конкретной» Синегории, горячей юности, славному комсомолу Алтая и посвящает Эдоков книжку.

Поэтическая тема Эдокова не нова. Он пишет о командировках в глубинку, о весне, которая «невестится», об осеннем дожде, о курганах — древних легендах и о людях — легендах нынешних. Более того, стихи эти иногда попросту декларативны. Чем же тогда радует эта первая книжка?

Можно говорить о новизне ощущения «вечных» тем, о свежести образов, деталей, форм. Все это верно, но стихи молодого поэта радуют, прежде всего, потому, что написаны они на одном дыхании, пущены в мир протяжным, ранним сигналом горна. Книжке Эдокова придана поэтому такая цельность, какой, как мне кажется, нет пока ни у одного из других авторов новой поэтической обоймы.

«Синегория» написана богатым русским языком. Автора ее не смущает смешение его слоес. «Сфинксы» в стихах Эдокова соседствуют с «фикцией», традиционный «мудрый кедр» — с совсем неожиданным «сангвиновым закатом». Соседство это не смущает и читателей: появляется новизна звучания, которая разрушает традиционность «вечных» тем. Это смешение — не молодое озорство, это — серьезное и продуманное переплетение, несущее свежесть образов.

«Не плачь, не плачь,  
Ярославна —  
Зачтется врагу обида!  
Я кликну на помощь Руслана,

Я с гор позову Давида.  
Гремит Калевалы песня,  
В ответ Кер-оглы смеется.  
И сокол, Манаса вестник,  
Стрелою к тебе несется...»

Руслан, Давид, Кер-оглы, Манас — имена-символы, ставшие в ряду едином, сделали зримой и весомой давнюю тему: Россия — семья братьев и сестер.

Александр Эдоков — алтаец. Естественно, что история и этнография родного народа не обошли его стороной. Он пишет о долине, «где, вытянув шею, молчат верблюды» — каменные идолы, об озере горных духов, о хозяйке гор — «Каракурмесе-трумы», о седых курганах Пазарыка. Он восхищается красотами слова и легенд. Но восхищение это особенное: губы поэта трогает легкая усмешка. Что же тогда преобладает в исторических стихах Эдокова: благоговение или улыбка? Пожалуй, не то и не другое. Просто выигрывает именно он, необычный этот синтез. Вот поэту привиделся под луной среди седых курганов могучий аргамак и всадник в черном одеянии. И затем следует нарочитое снижение романтического образа. Всадник этот, спешившись, совсем буднично спрашивает у поэта:

— Найдется покурить?

«И усмехнулись  
как-то разом...  
Заехал, видно,  
ум за разум.  
А сказка  
все-таки зарыта  
в седых курганах  
Пазарыка!»

В другом стихотворении поэт у «озера горных духов» встречается с человеком из легенды — парнем из «горняцкой гордой касты».

«И вот выходит  
На поверхность парень,  
И вы опять, я знаю, удивитесь:  
Идет, как будто  
На прогулке в парке,  
Простой и скромный,  
И совсем не витязь.  
Большой и добрый,  
Не обидит мухи —  
Таков он, парень,  
Повелитель духов!»

В стихах Александра Эдокова часто присутствует эта неуловимая, почти светловская усмешка. Комсомолец нашего поколения развивает традиции первых комсомольских поэтов. Так он в каждой своей строчке. В аquareлях «Юность» он за являет:

«Властному времени  
Властно велю:  
— Остановись:  
Я люблю!  
Я Л-Ю-Б-Л-Ю!»



А в другом стихотворении он просит старого друга-дятла сыграть ему на дорожку «яростную дробь»:

А ну, давай, как раньше!  
«А ну, давай!  
На тыщи верст,  
На тыщи разных троп...  
Веди,  
Зови, мой верный барабанщик —  
Да только жарче,  
Яростнее дробь!»

Поэт ловит в объятья высоту и кажется себе «всесильным магом» потому, что говорит от имени поколения, от имени комсомольца шестидесятых годов.

«Дорогие люди-человеки» — так назвал свою книжку Валерий Верютин. Название это в полной мере выражает спокойную, лирическую интонацию ее автора, мягкую доверительность. Откровенность дружеского письма людям присуща лучшим строчкам Верютина. Нет нужды ломать голову над тем, кому посвящены эти лирические эпистолы: характеристика адресатов дается исчерпывающая:

«Ждущие, какие вы хорошие:  
Долго ждать — не всем посильный труд.  
Оттого вселенная исхожена,  
Что идущих где-то очень ждут».

В этом четверостишии, как и во многих других, нет образов ярких, впечатляющих. Однако, банальности здесь тоже нет места. Автор избежал ее благодаря ясности размышлений, афористичной отточенности и — прямому обращению к своему адресату.

В книжке Верютина, совсем небольшой, есть еще несколько хороших стихотворений. «Сила», «Спасение», «Ты далеко», например. Рассказывая о борьбе с неварием в себя, поэт вспоминает о чаше полноводья, думает о том, что «...как бы ни мелка была река, — однажды — незоявлено и грузно — она вдруг переполнит берега и, может, даже переменит русло».

Образ, как видите, не блещет новизной. Что же вызывает расположение к его автору? Все та же подкупающая разговорная интонация, простосердечное раздумье. И как огорчается читатель, встретив в этой же книжке строчки претенциозные и дешевые:

«Мы встречи ждем лишь до тех пор,  
Покуда кончится разлука».

От подобной философичности так и веет «глубокомыслием» афоризмов Козьмы Пруtkова.

В книжке Верютина много стихов о любви. Но почти во всех исходная точка не чувство, а мысль. А уж когда лирические признания заменяются таким гитарным перебором, пошлой нарочитостью романса, право же, пропадает доверие к автору: «Ты другого ждала, я другую любил...», «И я как будто не такой, и все как будто не такое...»

Мне кажется, что Верютину пока не хватает строгости поэтического вкуса.

Уважение вызывает к себе творчество другого дебютанта — Юрия Гусева. Автор сборника «Баррикады» по профессии летчик. Он самозабвенно любит дело своей жизни, скрупулезно, с дневниковой достоверностью описывает детали армейской работы и быта. Громко и мужественно говорит о том, что любит, и декларативность этих признаний вполне оправдана:

«Ни пеньё скрипок, труб и мандолин,  
ни лодочных моторов перестуки —  
нам не заменят в жизни эти звуки,  
нам не заменят рокота турбин».

Юрий Гусев во всеуслышание заявляет о трудностях судьбы пилота, пишет о летчике, который погиб, чтобы спасти город и не катапультировался над ним. Думает поэт о своем младшем брате — тоже летчике и о матери, которая ждет их, двух своих сыновей, ушедших в небо. И все это, разумеется, не нагнетание «профессиональных ужасов». Это открытое и справедливое признание мужества, с которым соседствует горькая, но честная ирония. Сравнив летное облачение с рыцарскими латами, а носы самолетов — с пиками, поэт объявляет никчемной романтике, которая служит отвлеченному идеалу:

«Что ждало рыцарей? — турнир  
И блеск побед в боях упрямых,  
Чтоб после бросить целый мир  
К ногам своей прекрасной дамы.  
Стоят пилоты здесь, в глуши,  
В своих костюмах, словно в латах...»

Тех волновал турнирный бой,  
А этих — горести планеты.»

Читая другие стихи Гусева — «Он умер в небе...», «Упал я обгорелый, с высотой...», «Родным», «Когда я пролетаю над селом», — проникаешься тем же профессиональным гусевским взглядом. Хорошо это? Да, хорошо, потому что этому взгляду присуща определенность. Проясняются вещи и форма, передающая их. Поэтому лучшие стихи сборника «Баррикады» воспринимаются не как информации, а как поэзия подлинная.

Суровость содержания несет четкую, суровую форму. Именно потому удачны многие белые стихи Юрия Гусева:

«Упал я, обгорелый, с высоты.  
Над пропастью в кустарнике колючем  
Залутался. Не веря, что живой,  
Сжал пистолет, нащупал две обоймы...»

А вот некоторые другие стихи сборника — «Огни родного гарнизона», например, — тоже написаны верлибром, а являются попросту надоевшим упражнением на ту же самую тему. Чувство отчего дома не передается в этом стихотворении через детали, поэтому несколько не волнуют читателя рассуждения о неспящих окнах, которые ждут. «Что если это проза, да и худая?» — пушкинская насмешка вполне применима к подобным белым стихам.

Мы знаем, что зачастую во многих отличных стихах нет конкретной детализации. И все же эти стихи замечательны сгущенностью мысли, преодолевающей отвлеченную умозрительность. К сожалению, Гусеву стихи такого плана пока не удаются. Он пишет о единстве поэзии лирической и гражданской и приходит к выводу довольно банальному: «Не разложить по полочкам кровь нашу алую, дымную». Он пишет о социальных противоречиях, о мире, расколотом надвое — и опять появляется верное, но чисто информационное сообщение: «Нет нейтральных и зрителей, нет посторонних».

Для лирики, в том числе и гражданской, необходимо ощущение внутренней биографии и связанного с ней волнения.

Характерно доказывает эту мысль одно из лучших стихотворений Георгия Ряб-



ченко, открывающее его книжку «Первый бой». Рябченко взволнованно рассказывает о своем первом бое, о драке газетчика за правду — в самом грубом, физическом понимании слова. Житейская коллизия эта не наивна. Журналист — герой стихотворения — встретился не со случайными хулиганами; вся наша жизнь, с ее идеалами, стоит за его спиной.

«...И бью!  
За то, что он когда-то  
Из густоты колхозной ржи  
В том памятном году тридцатом  
В могилу деда уложил.  
И бью за то, что в сорок третьем  
Чинил над матерью допрос;  
Позорил узловатой плетью  
Святую седину волос...»

Сын земли своей, чувствующий великую преемственность, отстаивает справедливость, которой торжествовать вечно:

«И просто бью за то, что сволочь,  
Что проложил свой черный след  
Сквозь эту ветреную полночь,  
Сквозь чей-то сон,  
сквозь звездный свет.

Осталась после встречи мета  
И в душу врезалась мою.  
Так защищал я

прошлым летом  
Россию первый раз в бою».

С этим стихотворением Георгия Рябченко сразу хочется сопоставить другое — «Ненавижу». Его автор — Владимир Казаков, книжка которого «Полынь-трава», кстати, сделана на довольно высоком профессиональном уровне. Молодой поэт применяет классическую и тактовую метрику, богат арсенал его поэтических средств. Но вернемся к стихотворению «Ненавижу». На первый взгляд оно может показаться по теме аналогичным стихотворению Георгия Рябченко. В стихотворении В. Казакова — та же святая ненависть, которую нельзя прятать в «золоченых ножнах», та же взволнованность интонации. И все же посмотрим, о чем идет речь:

«Ненавижу!  
Соседей своих ненавижу!  
Что ни вашим, ни нашим,  
Ни черным, ни рыжим.

.....  
Это нож меж лопаток  
В удобный момент.  
Ненавижу покатых,  
Арендующих свет.»

Ладно, скажет читатель, все ясно. Ненависть к мягкотелости, к бескомпромиссности — далеко не ново. Обождем немного. Дочитаем стихи. Поэт, оказывается, ненавидит и свое «я»:

«Ненавижу за то,  
Что боюсь,  
Вдруг кого-то обижу.  
И за то, что бываю  
Сам пройдохой бывалым...»

Так про какую ненависть все же идет речь? Про ненависть — имя которой...  
ненависть?

Абстрактное, «очищенное» от предметности чувство само по себе ничего не значит. Необходимо конкретное его содержание.

Думается, Владимир Казаков это понимает. Вот, например, другое стихотворение — «Из прошлого».

«Ходит девочка космачом.  
Топчет лужи.  
Дружит с Колькой Грачом,  
Зачем дружит?  
Колька — сын богача,  
Жрет печенье.  
Вся изба в калачах,  
Много денег...»

Хорошие стихи! Выверенные судьбой, выношенные сердцем. И адрес потому у них очень точный.

Есть сложность в самых примитивных общественных отношениях. Есть глубина в самом первом, едва зародившемся чувстве:

«Мне б один на один  
С ней да с небом,  
Убежать в страну дынь,  
В страну хлеба.  
Но нельзя —  
Колька Грач

сильнее  
Он дает ей калач  
Покрупнее  
И уводит, смеясь,  
Тихо-тихо.  
И швыряю я в грязь  
Кусок жмыха».

Известный советский литературовед С. М. Эйхенбаум писал, что «одним названием поэзия жить не может, потому что она — активный метод собирания смыслов, метод словесного строительства». Владимир Казаков активно овладевает этим активным методом. Свидетельство тому — стихотворения «Метель», «Приснилось: жизнь моя — игра», «Живу заботами вокзала» и другие. Если сравнить «Полынь-траву» с книжкой Юрия Гусева, например, мы увидим, что первая философски гораздо насыщенней. Именно потому Владимиру Казакову нужно прежде всего прояснить свою позицию, и тогда, вероятно, у автора «Полынь-травы» отпадет необходимость в обыгрывании номинативных значений слов.

\* \* \*

Прочитана поэтическая кассета. Не сделано определенного вывода. Его, впрочем, и быть не может: не, ничего обманчивей первых книг, особенно поэтических.

Молодой, громкий, чуть насмешливый голос Александра Эдокова, тихий доверительный лиризм Валерия Верютина, верный избранному кругу предметов взгляд на мир Юрия Гусева, честная строгая линия стихов Георгия Рябченко, философский поиск Владимира Казакова — все это вместились в не очень толстую обложку, оплетенную бумажной лентой.

Поэтические характеры намечаются. Пожелаем масштабности их завтрашнему проявлению!



## В ЧЕМ СЕКРЕТ УСПЕХА

ЧИТАТЕЛИ О ПОВЕСТИ П. БОРОДКИНА «ТАЙНЫ ЗМЕИНОЙ ГОРЫ»

У каждой книги, как и у каждого писателя, своя неповторимая судьба. Одни произведения, едва выйдут в свет, холодно встречаются читателями и быстро забываются. Другие, появившись на книжных полках, моментально раскупаются и становятся спутниками, умными советчиками, друзьями людей.

Такая счастливая судьба выпала на долю повести П. Бородкина «Тайны Змеиной горы».<sup>1</sup>

В конце этой книги не было обращения к читателям с просьбой присылать свои отзывы, как это обычно бывает во многих изданиях, но сразу же, как только книга появилась в продаже, в издательство одно за другим стали поступать читательские письма из разных городов и сел нашей страны: из Змеиногорска, Горно-Алтайска, Белово, Томска, Челябинска, Горького, Москвы, Ленинграда, Николаева, Одессы...

В чем же секрет успеха повести П. Бородкина? Чем она понравилась читателям? За что они полюбили ее героев?

Учительница истории Л. Нестеренко из г. Змеиногорска отмечает, что «секрет притягательной силы книги в том, что она раскрывает тайну богатой кладовой Алтая — Змеиной горы, что в ней подкупающе просто повествуется о событиях «давно минувших дней». «А ведь писать о событиях, отдаленных от нас на два столетия, — гово-

рит она, — невероятно трудно. Можно написать скучно, сухо. П. А. Бородкин счастливо избегает этого. Безусловно, это результат кропотливого труда. Мало того, что автор отлично изучил архивный материал, он, что называется, проникся духом той эпохи, «вжился» в нее».

«Со страниц книги, — продолжает Л. Нестеренко, — встанут простые люди, благодаря неиссякаемой энергии которых открывалась кладовая полезных ископаемых Сибири... С большой симпатией выписаны образы Федора Лелеснова, Соленого, Насти. В пору насилия и палки они сохранили лучшие черты русского человека: свободолюбие, чувство собственного достоинства, благородство души и поступков, бескорыстие, честность. В тяжелых условиях они находят способы борьбы с «кровопивцами».

Студентка педагогического института Н. Колтунова из Горно-Алтайска пишет: «Я люблю читать книги об Алтае, особенно о своем городе Змеиногорске, где я все время жила. Город наш богат историей, и о нем можно много писать. У меня имеется своя библиотека, большинство ее книг об Алтае. Повесть же П. Бородкина «Тайны Змеиной горы» — самый ценный экземпляр в моей библиотеке».

Этот отзыв — свидетельство того, что наша молодежь любит книги, которые раскрывают богатую историю родного

<sup>1</sup> П. Бородкин. Тайны Змеиной горы. Барнаул, Алт. кн. изд., 1967.

края, прививают к нему глубокую любовь, вызывают чувство гордости за героическое прошлое нашего народа, революционные традиции которого живут, развиваются, множатся.

Жизнь трудового народа Алтая в первой половине XVIII века, изображенная в повести П. Бородинки, неотделима от жизни крепостной России того времени. Эту мысль высказывает учитель русского языка и литературы Н. Сворцов из г. Белово Кемеровской области. «В книге показана не только жизнь рабочих людей Колывано-Воскресенского округа, — пишет он в своем отзыве, — но и раскрывается убожество чиновничьей России, казнокрадство, расточительство, невежество, засилие иностранцев на промышленных предприятиях и в учреждениях. Автор книги правдиво повествует о свободолюбии и борьбе народных масс с вековыми угнетателями».

Н. Сворцов указывает, что достоверность и яркость в изображении жизни народа достигаются тем, что язык повести живой, сочный, близкий к разговорному народному языку того времени, к которому относятся описываемые события.

Сотрудники архивного отдела Томского облисполкома в своем отзыве указывают на особенность творчества П. Бородинки: «П. Бородинкин обладает даром архивиста-историка и литератора. Это позволило ему на основе архивных документов написать уже не одно литературное произведение».

Читатели А. Моравская, Г. Шмаков и И. Шмакова из г. Горького отмечают, что П. Бородинкин в «Тайнах Змеиной горы» правдиво, с художественным мастерством поведал о тяжелых условиях жизни «рабочего люда» на демидовских заводах Алтая в эпоху крепостничества, показал его решимость к сопротивлению, к борьбе против невежества, насилия, произвола, самодержавных порядков».

О том, какие чувства вызывают герои повести П. Бородинки, говорит в своем отзыве читатель В. Комаров из г. Москвы: «Ф. Лелеснов, открыватель полиметаллических руд, является не только

благородным человеком, но и революционным рабочим, который, рискуя своей жизнью, спас многих рабочих людей от смерти в секретной подземной каторге, и оттого у читателя появляется огромное уважение к простому русскому человеку, восхищение его силой и мужеством».

О воздействии повести П. Бородинки на душу и разум читателя рассказывает народный учитель А. М. Топоров из бывшей алтайской коммуны «Майское утро». Обращаясь к автору, он пишет из г. Николаева: «Прочел повесть единым духом и с упоением... Скажу вам по чистой совести: вы создали жуткую, потрясающую книгу, которая живописует весь ад старинного рудного Алтая...». «Ваша повесть, — пишет далее А. М. Топоров, — ближе к высокохудожественным очеркам, избилующим ошеломляющими фактами и документами, которые воздействуют на читателя сильнее самых необузданных выдумок. Архивные документы всегда и всюду украшают исторические повествования. Вы прекрасно усеяли ими все поле повести, причем с тонким сохранением чувства меры».

Читатель В. Гушин из г. Челябинска, который в прошлом жил и работал на Змеиногорском руднике, пишет о добром почине П. Бородинки и о тех больших задачах, которые стоят перед писателями Алтая. «То, что сделал П. Бородинкин, является значительным, нужным, интересным. Он открыл тайну Змеиной горы. Но это только небольшая часть большой истории освоения рудных богатств Алтая в прошлом. А кто напишет о трагедии Черепановских рудников, о камнерезном заводе, о его удивительных в прошлом мастерах — камнерезах и камнетесах? Что может быть красивее вазы — гиганта в Зимнем дворце, которую сделали алтайские умельцы... Историю рудного Алтая нужно писать. В ней много интересного, неразгаданного, героического, увлекательного. И писать эту историю должны писатели-историки Алтая».

Эту мысль развивают и дополняют учителя С. Маслов и Т. Маслова из ра-



бочего поселка Первомайский Восточно-Казахстанской области. «На Алтае, — пишут они, — жили и творили И. Ползунов, отец и сын Фроловы, но, к сожалению, о них пока написано мало. Нам кажется, что писатели края, и в первую очередь П. Бородкин, могли бы это сделать».

В письмах читателей подчеркивается большое значение литературной деятельности П. Бородкина. «По его книгам «С. И. Гуляев», «М. К. Цаплин», «Революционные события на Алтае в 1905—1907 гг.», «Исторические рассказы о Барнауле», «Тайны Змеиной горы», — пишут читатели В. Котенко и Н. Гузь из г. Одессы, — мы смогли узнать об интересном и богатом прошлом Алтая, о его борцах за народное счастье».

Как бы подводя итог читательским отзывам, бывший начальник штаба партизанской Красной Армии Е. М. Мамонтова на Алтае Я. Жигалин, ныне персональный пенсионер союзного значения, пишет из г. Ленинграда: «Выпуск книги П. Бородкина «Тайны Змеиной горы» является удачей автора, так как она имеет большое познавательное и воспитательное значение».

«Прошу передать П. А. Бородкину сердечную благодарность за хорошо написанную повесть. Желаю ему крепкого здоровья и еще больших творческих успехов», — такими словами заканчивается почти каждый читательский отзыв.

## ПОСОЛЬСТВО ТЕЛЕУТСКИХ КНЯЗЕЙ В МОСКВУ (1658-1659 гг.)

В русских документах XVII — нач. XVIII вв. территория современного Алтайского края и южной части Новосибирской области нередко именуется «Телеутской землицей».

Основное (и постоянное) население «Телеутской землицы» в XVII столетии составляли тюркоязычные алтайцы. Самым большим из алтайских племен были телеуты (в актах того времени их чаще называют «белыми калмыками»).<sup>1</sup>

К приходу русских в Южную Сибирь алтайские племена стояли на разных ступенях социально-экономического развития. Так, северные алтайцы, жившие оседло в бассейне Бии и нижней Катунь, занимались главным образом охотой, рыболовством и собирательством, хотя им были известны примитивное земледелие и скотоводство. Основным занятием южных алтайцев-кочевников было специализированное (а потому более продуктивное) табунное скотоводство.

Характерной чертой общественного устройства алтайцев в XVII в. является господство феодальных отношений, осложненных сильнейшими пережитками патриархально-родового быта. Основные группы алтайского общества составляли: феодальная знать племен, зависимые от нее обедневшие соплеменники и рабы (из числа пленников), а также лично свободные кочевники-общинники и иноплеменники, платившие дань—кыштимы.

Самыми могущественными из алтайских князей в конце XVI — начале XVII вв. были телеутские князья, наибольшую известность из которых приобрел князь Абак. Опираясь на сплоченную телеутскую аристократию и значительные военные силы (до 1000 воинов), Абак превратил в своих кыштимов другие родо-племенные группы алтайцев и отореченных угро-самодийцев и пытался распространить свое влияние на шорцев, барабинцев и чагов. Для достижения этой цели использовались не только военные силы, но и дипломатические средства.

Политическая обстановка, в которой пришлось действовать телеутским князьям, была очень сложной. Между калмыцкими тайшами (князьями) и монгольскими феодалами из державы Алтын-ханов на долгие годы затянулась упорная борьба за гегемонию в Центральной Азии. Ареной этой борьбы нередко становилась Южная Си-

<sup>1</sup> Термин «белые калмыки» применялся к алтайцам неправильно, так как калмыки принадлежат к иной (монгольской) языковой группе народов.



бирь, на сбор ясака в которой претендовали обе враждующие силы. С самого начала XVII в. с аналогичными претензиями выступила и царская Россия: сибирские воеводы стремились любыми путями обложить ясаком население Телеутской, Кузнецкой (современная Шория) и Киргизской (современная Хакасия) земель.

К середине XVII в. положение в Южной Сибири еще более осложнилось. После длительной междоусобной борьбы калмыцких феодалов в Джунгарии возобладала централистские тенденции. С 1635 г. во главе объединенного государства калмыков стал энергичный Баатырь. Усиление Джунгарии сделало реальными шансы на ее гегемонию в Центральной Азии, что серьезно обеспокоило Алтын-ханов. Оно таило в себе угрозу поглощения буферных княжеств телеутов и киргизов, а это, кроме прочего, могло причинить заметный ущерб экономическому состоянию державы Алтын-ханов, в которых киргизы и их кыштымь до сих пор, правда нерегулярно, платили дань.

Усиление Джунгарии не сулило ничего хорошего и Русскому государству. Сибирские воеводы и раньше с трудом сдерживали напор воинственных калмыков, но теперь, когда на смену враждующим группировкам феодалов пришло единое государство с сильной центральной властью, выполнять эту задачу стало еще труднее. Дело в том, что цепь острогов, прикрывавшая русские владения с юга, была более чем редкой: достаточно указать, что от Тары до Томска не было ни одного острога, граница тут фактически была прикрыта лишь телеутским буфером. К тому же имевшиеся в Западной Сибири русские военные силы были невелики и, как показали события Томского бунта 1648 г., ненадежны: любопытно, что во время этого бунта в среде служилой мелкоты возникла идея покинуть Томск и «завести Дон» на устье Бии и Катунь.

В этих условиях важной задачей томских воевод стало обеспечение прорусской ориентации телеутских князей, что должно было предотвратить полное подчинение их джунгарскому контакше или монгольскому Алтын-хану. Основным средством борьбы за влияние на телеутскую знать оставалась дипломатия. Выполнение этой задачи отчасти облегчалось тем, что в последние годы жизни Абака в «Телеутской земле» возник еще один феодальный улус во главе с князем Мачиком Койшебуриным, который находился «в свойстве» с контакшой. После смерти Абака в 1635 г. во главе большей части телеутов стал его старший сын Кока.<sup>1</sup> Томские воеводы надеялись сыграть на противоречиях Коки и Мачика и не допустить их прочного альянса с контакшой или с Алтын-ханом.

До 1653 г. воеводам, в основном, удавалось добиваться этой цели: специальные посольства периодически (в 1636, 1646, 1650) приводили Коку к шерти (вид клятвы на верность царю), в 1649 г. шертовал и Мачик. Воеводам было предписано «не задираща» с телеутами и «не воевать» их без особого указа Москвы.

С конца 1652 г. началось обострение русско-телеутских отношений, причиной которого явился уход Кокой в свою «землицу» телесов, раньше плативших ясак в Кузнецк. (Не обошлось, видимо, без подстрекательства джунгарского хана: по некоторым данным, он дал Коке 3000 воинов для нападения на русские уезды, но зимой 1653 г. Баатырь умер, и его воины вернулись в Ургу). В ответ на действия Коки кузнецкий воевода Ф. Баскаков, в нарушение инструкций, «самовольством» повоевал несколько юрт Кокиных кыштимов и ограбил зверовавших на Чумыше братьев Коки — Имена и Койбаса. И хотя по резкому протесту Коки действия Ф. Баскакова были расследованы специальной комиссией и сам он получил строгое внушение, а к Коке «для уговоров» направлено новое посольство, телеутская знать в 1653—1654 гг. организовала ряд набегов на русские уезды.

В то же время внутри «Телеутской земли» против Коки начали борьбу его сепаратистски настроенные братья Торгоут и др., в союзе с которыми выступили чер-

<sup>1</sup> ЦГАДА, ф. 214, стл. 49, л. 182 и др.

ные калмыки, в результате чего Кока вынужден был вести войны и с ними. Войны эти были неудачными, князь терпел в них поражение за поражением.

В этих условиях Кока, заключив союз с Мачиком, начал зондировать почву для союза с киргизскими князьями и даже вступил в связи с Алтын-ханом Лоджаном (1657 г.). Последний предлагал Коке либо выступить вместе против Томска, либо дать ему 1000 коней для экипировки его войска.

Томские воеводы были напуганы таким поворотом событий и доносили царю о «ссылках» Коки и Мачика с Лоджаном, об усилении их набегов на уезды, самым дерзким из которых было нападение на Сосновский острог. Томские воеводы не теряли надежды мирно разрешить конфликт с телеутами. Они надеялись, что поражения Коки в борьбе с черными калмыками и братьями сделают его более сговорчивым, но князь отверг предложение об «обереже» его от калмыков в обмен на шерсть русскому царю.

В апреле 1658 г. в Томске была получена царская грамота от декабря 1657 г., предлагающая разрешить конфликт с телеутскими князьями дипломатическими средствами. Надлежало направить к Коке и Мачику толковых послов с ультимативным требованием прекратить набеги на уезды и т. п.<sup>1</sup>

Содержание грамоты и весь ее тон свидетельствовали о том, что в Сибирском приказе решили наконец перейти от обороны к наступлению и не мытьем, так катаньем вернуть телеутских князей в лоно прорусской ориентации. Обращают на себя требования прекратить сношения с Алтын-ханами и киргизскими князьями, выдать аманатов (заложников), виновников набега на Сосновский острог и другие, принятие которых означало существенное ущемление самостоятельности телеутских князей в их внешних и внутренних делах. Никогда еще подобного ультиматума перед ними русские власти не ставили. Трудно было ждать, что все эти условия будут Кокой и Мачиком безропотно приняты.

Во исполнение царского указа томские воеводы отправили 30 мая 1658 года к князьям телеутов посольство из 7 человек во главе с пятидесятником Д. Вяткиным и толмачом К. Капустиним. В основу их наказной памяти воеводы положили содержание царской грамоты, проиллюстрировав его новыми фактами из русско-телеутских отношений.<sup>2</sup>

20 июня 1658 г. посольство прибыло «в белые калмыки». На следующий день Кока принял послов. В ответ на его вопрос: «Для какова дела царского величества воеводы вас, Дмитрея с товарищи, ко мне, Коке, прислали?» — Вяткин прочел по статьям наказную память. Выслушав Вяткина с доброжелательным вниманием, Кока сказал, что ответ свой даст на следующий день. Однако с ответом князь не спешил и заметно тянул время.

Причины благосклонного на сей раз отношения Коки к русским послам объясняются не столько угрозами царского ультиматума, сколько неблагоприятным для Коки ходом борьбы с черными калмыками и братьями. Его проволочка с окончательным ответом русским послам также находит свое объяснение в этом факте: Кока, потерпевший от врагов уже не одно поражение, хотел еще раз попытать счастья. Исход этого сражения решал многое: в случае победы он мог занять менее сговорчивую позицию в отношении русских предложений, а поражение диктовало, наоборот, уступчивость.

25 июня Кока и Мачик неожиданно перекечевали на другое место. На стан послов Кока прислал 15 человек, которым велел взять всех послов «с кошем» к себе,

<sup>1</sup> ЦГАДА, ф. 126, оп. 1, 1567, д. 1, лл. 1—11.

<sup>2</sup> Там же, ф. 126, оп. 1, 1658, д. 1, лл. 5—14; ф. 214, стл. 1567, лл. 243—255; ААН, ф. 21, оп. 4, кн. 18, № 40, лл. 68—73.



«на степь». Послы были вынуждены подчиниться, однако Д. Вяткин послал К. Капустина к Коке с вопросом: «Для какова дела он к себе емлет?» При встрече Кока наконец ответил на этот вопрос: «Не таю(сь) де яз вас. Ныне иду яз воевать черных калмыков, а вы де будьте со мною на том бою». Князь либо хотел, чтобы русские стали свидетелем его победы и говорили с ним другим языком, либо, скорее всего, полагал, что присутствие русских в его лагере произведет должное впечатление на его противника и поможет одержать над ним победу.

В то же время можно понять упорное нежелание Д. Вяткина присутствовать на этом сражении. Послы не хотели, чтобы их присутствие в телеутском войске вызвало осложнения в отношениях с Джунгарией. Но как они ни упирались, телеуты взяли их «с собою силно и лошади дали свои». К тому же Кока, изворотливый дипломат, предложил русским послам рассматривать его бои против черных калмыков как пример практического соблюдения им его же шерты русскому царю.

27 июня телеуты «съехали на степь». Здесь и развернулось сражение между Кокой и его врагами — черными калмыками, в союзе с которыми выступал «супротивный» брат Коки — Торгоут. Союзникам и на сей раз удалось нанести поражение Коке. Его войско понесло большие потери и было рассеяно. Пострадало и посольство. Один из его членов — татарин Кужелек — был убит, другой — И. Лаврентьев — получил две раны, калмыки отбили у послов двух коней с выюками.

Кока, надевшийся на победу, был подавлен этим разгромом. Только 14 июля он дал прощальную аудиенцию Д. Вяткину в своей юрте. На вопрос Д. Вяткина о том, «какой от него приказ будет?», князь ответил пространным челобитием.

Прежде всего он просил, чтобы царь велел пропустить «к Москве» его послов — «бити челом о своих нуждах». Затем князь вспомнил о шерти и «прямой» службе, включая совместные военные походы против общих врагов его отца Абака и свою прежнюю шерть о подданстве. Далее Кока выразил согласие подкрепить свою шерть, но оставил это рядом условий.

Поскольку взаимное доверие русских воевод и телеутских князей не было восстановлено (и Кока это прекрасно понимал), князь предложил следующую программу действий, приемлемую для обеих сторон:

1) он отправляет с Вяткинским своих посланцев с челобитием к воеводам; 2) воеводы отправляют с Д. Вяткинским ясырь Коки в его землю; 3) Кока, получив ясырь, подтверждает свою шерть и отправляет с тем же Вяткинским «иных добрых людей», которые из Томска поедут послами в Москву; 4) на время поездки Д. Вяткина первые посланцы Коки останутся в Томске в качестве аманатов (заложников); как только послы Коки выедут в Москву, заложники должны быть отпущены к Коке; 6) если царь укажет телеутским князьям давать своих аманатов в Томск, то по приезде послов из Москвы Кока пришлет в Томск «аманатов добрых» «на перемену тем посланцам», а последние должны быть отпущены в «Телеутскую землю».

В качестве первого шага для восстановления доверия воевод к телеутским князьям Кока возвращал с Вяткинским пленного служилого татарина.

Поражения Коки в борьбе с Торгоутом и черными калмыками заставили его обратиться с просьбой о предоставлении ему и его людям убежища в русских владениях. Затяжная неудачная война истощила материальные и людские ресурсы телеутов. Кока сам признался русским послам, что «завоевался с черными калмыками и з братьями своими». Чтобы избежать окончательного разгрома, залечить раны и обратиться с силами, Кока просил царя разрешить ему «кочевать на своей государеве земле, где он, великий государь, укажет, чтобы ему, Коке, ниотково обиды не было и от его Кокиных недругов велел великий государь ево, Коку, оборонить своим государевым томским служилым людям». Хитрый князь даже выдал, так сказать, аванс на положительное решение царя в отношении его челобитья, заявив, что он, Кока, «во всем надежен на великого государя милость». Со своей стороны князь

обещал не только немедленно уведомлять воевод Томска о походах «каких воинских людей под государевы города с войною», но и присылать «людей своих на помощь в тот город».

Князь Кока предлагал (пока послы в Москву «сходят») привести под власть русского царя саянцев и точей. К сожалению, как закончилось «послованье» Д. Вяткина нам неизвестно, так как статеиный список его сохранился не полностью. Но, судя по другим документам, можно полагать, что именно на последнем приеме Вяткина впервые была высказана князем телеутов мысль о помощи ему ратниками при приведении к подданству саянцев и точей. Видимо, с помощью русских ратных людей Кока рассчитывал не столько подчинить саянцев и точей, сколько повернуть в свою пользу ход борьбы с черными калмыками и «супротивными» братьями.

Таким образом, оказавшись в безвыходном положении, князь Кока и его союзник князь Мачик решили еще раз славировать, повернуть на 180 градусов фронт борьбы, заручиться поддержкой Русского государства для усиления своих позиций как внутри «Телеутской земли», так и на международной арене. Опираясь на помощь своего северного соседа, они могли противостоять и «черным калмыкам» Джунгарии и «желтым мунгалам» из державы Алтын-ханов.

21 (по другим данным, 29) июля посольство Д. Вяткина возвратилось в Томск в сопровождении посланцев Коки и Мачика. С удивительной быстротой И. Н. Приймков-Ростовской и А. А. Коковинский сообразили, что телеутские князья находятся в критическом положении и решили воспользоваться этим. Уже 31 июля в «Телеутскую землю» выехало новое посольство во главе с Д. Е. Копыловым.<sup>1</sup>

Задачи посольства заключались в том, чтобы принять подтверждение шерти телеутскими князьями, сообщить им о царском «пожалованье», которое состояло в том, что из Томска отпускали «полоненный ясырь», разрешили пропустить посольство Коки и Мачика в Москву «и чтоб он, Кока, улусных своих людей в Томской город присылал с торгом безо всякого опасения». В свою очередь Кока должен был сыскать и возратить «грабежной живот» Т. Путимца и других русских послов, ограбленных в свое время в улусах князя. Копылову предписывалось также напомнить Коке его «уговор» (обещание — А. У.); он должен был объяснить две волости, за что князь ждет особое пожалование: «А великий государь пожалует ево: велит ему кочевать, где он похочет на Мерете».

2 сентября 1658 г. князь Кока пригласил русских послов к себе в юрту. После свершения обряда шертования князь «словесно» бил челом о пропуске его послов, объявил состав посольства и подарки, что посылает с ним.

Затем Кока бил челом на кузнецкого воеводу Ф. Баскакова и его служилых людей, напомнил о всех своих обидах и подчеркнул, что он «учинил заказ крепкой, чтоб ево, Кокины, люди с государевых людей насильством ничево не отнимали и ссоры не делали».

7 сентября 1658 г. посольство Д. Копылова возвратилось в Томск. Вместе с ним прибыли послы Коки и Мачика в Москву — Мамруч, Келкер, Дачин и др. (5 человек). Они везли с собой в подарок царю 150 красных лисиц (их позднее называли теленгутскими). Телеутские послы ударили челом о пропуске их в Москву, и выезд им был разрешен. Впервые алтайские послы ехали в столицу огромного Русского государства.

Вскоре после отъезда послов в Москву Кока прислал в Томск двух своих посланцев Кожана и Буру. Сообщив, что князья телеутов подкрепили шерть и принесли свои вины перед царем, послы били челом, чтобы царь пожаловал Коку и Мачика, «велел к нему Коке прислать своих государевых ратных людей ста с три или з два,

<sup>1</sup> ЦГАДА, ф. 126, оп. 1, 1658, д. 1, лл. 1—4; ф. 214, стл. 1567, лл. 262—266; ААН, ф. 21, оп. 4, кн. 18, № 41, лл. 73—76.



а он, де Кока, хочет послать воевать две волости Точинскую да Саянскую», чтобы их объяснить.<sup>1</sup>

Эта просьба снова насторожила воевод: ведь 300 ратников могли и без помощи Коки привести к шерти точек и саянцев, вооруженных лишь лучным боем. По-видимому, русские войны были нужны Коке для каких-то иных целей, скорее всего, для борьбы с черными калмыками. Завести же войну с черными калмыками было не только опасно, ввиду их многочисленности, но для этого даже не было предлога.

И воеводы нашли выход: не отказывая и ничего не обещая, они заявили телеутским посланцам, что необходимо запросить распоряжение из Москвы.

Таким образом, хитрость Коки не принесла ему ожидаемых результатов.

Теперь все свои надежды на получение русской военной помощи князь Кока связывал лишь с посольством Мамруча, Келкера и Дачина.

Посольство Мамруча выехало из Томска 18 сентября 1658 г.<sup>2</sup> Путь его пролегал через Тобольск, Тюмень, Туринский острог, Верхотурье, Соликамск, Кай-городок, Соль Вычегодскую, Устюг Великий, Тотму, Вологду, Ярославль и Переяславль Залесский. В качестве пристава с посольством ехал пятидесятник Д. Вяткин, а в провожатых (охрана — А. У.) 5 томских казаков — «Милка Дорохов с товарищи». Княжеские подарки царю — 150 лисьих шкурок — были уложены в сумы, запечатанные «государевыми печатями» еще в Томске, где воевода вручил их до Москвы охране. Провожатые имели наказ смотреть, чтобы послы «городов не рассматривали и ни с кем ничево не разговаривали», никого к ним не пропускать, самим говорить «остерегательно», хранить их мягкую рухлядь (пушнину — А. У.). Послам ежедневно давали по 2 чарки вина, кашеварам их — по 1 чарке, а «хлебом и мясом» кормили «как им сытым быть». В денежном выражении дневное содержание посла выражалось в 1 алтыне, а кашевара — в 4 деньгах (в одном алтыне шесть денег).

Посольство долго тащилось до Москвы, чередуя проезд на речных судах с передвижением на подводах. Только 30 декабря послы добрались до «первопрестольной».

В тот же день о приезде телеутских послов было доложено царю. Весьма знаменательно, что царь указал дьяку Сибирского приказа В. Герасимову «тех калмыцких посланцев из Сибирского приказа послать в Посольский приказ». Переговоры с ними было поручено вести фактически руководителям этого приказа, известным русским дипломатам XVII века думным дьякам Алмазу Иванову и Дмитрию Шубину.

Это означало, что Москва признавала телеутских князей суверенными государями в «Телеутской земле», в противном случае их делом занялись бы дьяки Сибирского приказа. Но, признавая независимость Коки и Мачика от русских властей, царское правительство в то же время признавало и неподвластность их Джунгарии. И этому обстоятельству мы придаем особо важное значение.

Нельзя не отметить, что руководители посольского приказа считали возможным приравнять телеутских князей к могущественному калмыцкому хану Аблаю, владения которого располагались по Иртышу и соседили с «Телеутской землей». Резиденция этого хана находилась в районе современного Семипалатинска, кстати, получившего имя от кирпичных построек хана (Семь палат) на правом берегу Иртыша. Хан Аблай в это время фактически не зависел от центральной власти в Джунгарии и обменивался послами с русским царем. Так, известны посольства в Москву Ирки-муллы в 1658 г. и его второе посольство в 1662 г.

Применительно к посольству Ирки-муллы в 1658 г. были установлены нормы довольствия телеутского посольства и размеры пожалования его членов. Послам бы-

<sup>1</sup> ЦГАДА, ф. 126, оп. 1, 1658, д. 2, лл. 1—21; ф. 214, стл. 1567, лл. 256—259, 267—269; ААН, ф. 21, оп. 4, кн. 18, №№ 43 и 44, лл. 77 об. — 79 об.

<sup>2</sup> ЦГАДА, ф. 126, оп. 1, 1658, д. 2, лл. 21—46.

ло выдано в виде царского жалования «по однорядке червчатой с круживы и з завязки», «по кафтану по камчатному», «по шапке бархатной» да «платну (полотну — А. У.) золотному». Кашеварам также дали по однорядке и по шапке, но менее дорогие. Все члены посольства получили «по сапогам телятинным по 13 алтын по две сапоги человеку». Приказной писарь скрупулезно выписал, что стоит каждая пожалованная вещь (полотна — по 20 руб., однорядки червчатые и кафтаны камчатые по 7 руб. шт., шапки бархатные по 3 р. шт.; простые однорядки и шапки для кошевараов стоили соответственно по 2 р. 50 коп. и по 1 руб. за штуку. Общая стоимость пожалования выражается цифрой около 127 рублей по курсу XVII в. Поденный корм их был «довольный», а питья полагалось: послам — по 3 чарки вина, по кружке меду и по кружке пива, а кашеварам — по 2 кружки пива. Это было, правда, несколько ниже той нормы, которую получали послы Аблай-хана. Зато кормовых денег телеутские послы получали побольше (послы получали по 10 денег против 8 денег, которые назначены были Ирке-мулле и его товарищу, а кашевары — по 6 денег на день). При этом, в день приезда «дано им государева жалованья корм и питье споденным вдвойа». Кроме прочего, для отопления резиденции послов им было «давано по возу дров на неделю», а для «береженья ее 5 стрельцов и сторож с Земского двора».

Целый месяц жили телеутские послы в Москве, ожидая приема в Посольском приказе. Наконец, 29 января 1659 г. их пригласили «на разговор» с думными дьяками Алмазом Ивановым и Ефимом Юрьевым. Сохранился протокол этих переговоров, позволяющий судить как о содержании, так и об атмосфере, в которой они проходили.

Прием послов состоялся в Посольской палате Кремлевского дворца. «А как они вошли в Посольскую палату, а дьяки с ними корошевались».<sup>1</sup> Затем Алмаз Иванов спросил: «К царскому величеству князцы их Кока и Мочак (испорченное Мачик — А. У.) челобитную прислали их и о чем с ними речью (т. е. устно — А. У.) великому государю приказали бить челом?» Послы ответили, что князья их «челобитной и грамоты с ними не послали для того; по их де языку у них грамоты нет — а приказали бить челом великому государю словесно».

Затем дьяки поинтересовались, где телеутские князья «ныне кочуют и много ли с ними боевых людей». Мамруч и его товарищи сообщили, что кочевья князей ныне находятся от Томска в 12 «дницах» пути, «а людей у них боевых, oprичь работных, з 2000. А Кожин де отец Абакова (видимо, правильнее Абак — А. У.) выехал блаженные памяти при великом государе царе и великом князе Михаиле Федоровиче всеа Руси из Алтайской земли, покинув свою землю и служил ему де, великому государю, многие лета. А сын его Кока Абаков тутошние земли уроженец...»<sup>2</sup>

Далее послы перешли к изложению сути их челобития. Они отметили верную службу Коки и Мачика покойному и здравствующему государям до недавнего времени. Лишь года 4 назад, когда улусные люди телеутских князей отогнали у ясачного татарина Катыша 100 лошадей, «учинилась меж государевых и их улусных людей ссора». Боясь «государевых людей прихода», князцы «ис под гбсударевы высокие руки откочевали вверх по Оби» и только после присылки послов из Томска возобновили свою шерть и прислали их, Мамруча с товарищами, бить челом об их прощении.

Дьяки задали вопрос о том, подкрепили ли Кока и Мачик свою шерть присылкой

<sup>1</sup> Во время приема кочевнических послов царь в знак особой милости мог положить им руку на голову. «Корошеванье» заключалось в том, что дьяки клали послам руки на плечи.

<sup>2</sup> Это утверждение содержит ошибку: Абак выкочевал из Алтайских гор за несколько лет до воцарения Михаила Федоровича. По документам, телеуты во главе с Абаком уже в 1602—1603 гг. кочевали на левобережье Оби, а Михаил Федорович избран на царство Земским Собором 1613 года.



в Томск аманатов, на что послы ответили отрицательно: «аманатов в Томской они, князцы, не дали, потому что послали к великому государю послов». Дьяки убеждали телеутских посланцев, что князья их, ценя царскую милость к себе, обязаны дать в Томск не просто аманатов, а «детей от своих *прямых жен*». Это требование нисколько не смутило послов. Наоборот, с неожиданной готовностью они передали челобитье Коки и Мачика, обещавших, якобы, в аманаты своих детей от прямых жен. «Да не токомо что детей своих», — добавили Мамруч и другие, — «хотя де великий государь изволит из них, князцей, ково в аманаты, и они и сами в аманатех быть готовы».

В этой части переговоров обращают на себя внимание несколько моментов: 1. Телеутские послы явно преуменьшили вины своих князей, сведя все причины ссоры их с русскими властями к одному-единственному случаю отгона их соплеменниками лошадей. 2. Они столь же явно упрощают всю историю восстановления прежних отношений, сводя ее опять-таки к единственному посольству, что характеризует их князей как весьма покладистых людей. 3. Они по первому же требованию А. Иванова и Н. Юрьева готовы обещать в аманаты не только княжеских детей от «прямых жен», но и самих своих повелителей. В этом поведении послов видна определенная тактика, особый расчет. По-видимому, они имели наказ проявить максимум уступчивости в вопросах, связанных с условиями шерты князей, с тем, чтобы получить уступки другой стороны по другим, более важным для их князей вопросам.

Следующее челобитье послов касалось оказания военной помощи Коке и Мачику в связи с их намерением привести «в ясак» две волости. В просьбе послов уже фигурирует не 2 и не 3 сотни ратников, а только 100, и не саянцы и точи, а саянды и телесцы. Последние, по признанию самих послов, раньше платили уже ясак царю, «а ныне де те телеские мужики кочуют заодно с саянцы». Дьяки спросили: «Многие ли тех саянцов и телеских мужиков и далече ли от их, князцовых, кочевьев?»

И послы говорили: «Тех де саянцов и телеских мужиков с 300 юрт, а живут они неподалеку от их, князцовых, кочевьев. А большие де люди саянцы ж кочуют в вершине по реке Келче, ходу до них от их, князцовых кочевьев с месяц».

Дьяки, по-видимому, пришли к выводу, что Кока и Мачик при обьясачении саянцев и телесов (или точей) могут вполне обойтись собственными силами, без русской военной помощи. Прямого отказа на это челобитье протокол не содержит, согласия — тоже, но эта фигура умолчания весьма красноречива.

Далее послами был поднят вопрос об обидах телеутам от кузнецких служилых людей. Претензии их касались права телеутских князей на сбор с кузнецких людей (шорцев — А. У.) ясака железом и имущества, отнятого у телеутских зверовщиков кузнецкими служилыми людьми (имеются в виду 100 лосин). «Прежь де сего кузнецкие государевы ясачные люди платили князцам их (Мамруча и его товарищей — А. У.) ясак железом. А ныне де им те государевы ясачные кузнецкие люди железа не дают». Просьба послов заключалась в том, чтобы царь велел ясачным платить ясак железом и чтобы лосины возвратили.

Царские дипломаты очень умело отклонили предъявленные претензии, заявив, что эти события были «до шерты и с обеих сторон многие зацепки в то время чинились» и ограничились неопределенным обещанием на будущее: «А как князцы их ныне учинились под высокою рукою великого государя, и им князцам никаких обид от государевых людей не будет».

Послам нечего было и надеяться на то, что Коке и Мачику будет позволено собирать ясак с шорцев железом. Дьяки прекрасно понимали, сколь большое значение имеет это железо в жизни телеутов, но они не могли признать за телеутскими князьями право на сбор ясака железом с шорцев, так это означало бы признание за ними права на ясак с «кузнецких людей» в принципе, на что царские дипломаты не могли пойти.

Мамруч и его коллеги попытались снова поднять вопрос о военной помощи, но несколько под иным соусом. От имени князей они просили прислать вместе с ратными людьми того пятидесятника, «который их к шерти приводил» (речь идет о Д. Копылове или о Д. Вяткине). Интересно, что ответа на это челобитье тоже нет в протоколе.

По-видимому, история взаимоотношений русских с телеутами за последние десятилетия не внушала царским дипломатам особого доверия к шерти телеутских князей. Возможно, и ход переговоров давал пищу для раздумий в этом направлении: послы дважды поднимали вопрос о военной помощи, с подозрительной готовностью их князья предлагали себя в аманаты и др. Как бы там ни было, дьяки решили разузнать, что представляла собою шерть Коки и Мачика. «И дьяки допрашивали послов, как князцы их великому государю шертовали», — сообщает протокол. «И послы говорили: «шертовали де великому государю князцы их — пили золото в меду».

Дьяков заинтересовало, «давно ль у них такое шертованье, что золото пьют и от чего зачалось?»

«И послы говорили: сколь давно у них шертовают, что золото в меду пьют, зачалось, того они не упомнят. А как де они шертуют — золото в меду пьют — того они добре страшатца. А то де они слышали наперед сего: мунгальской тайши промержи собою шертовали — пили золото в меду, и один де тайша мунгальской на своей шерти не устоял — хотел итти войною — и у него де золоте вышло боком. И от того де у них то шертованье и страшно».

На этом протокол «послования» в Москве обрывается. Но по другим документам можно установить, какие еще вопросы обсуждались на переговорах. Известно, например, что послы били челом царю, чтобы он пожаловал Коку и Мачика, велел прислать «пищаль винтовальную, да пансырь, да сукон».

Эта просьба была уважена: кроме винтовальной пищали и панциря, князьям было послано «сукон аглинских червчатых две половинки».

На этом аудиенция была закончена и послы вернулись в свою резиденцию. В Москве посольство Мамруча прожило еще около месяца, пока в Посольском приказе готовили им проездные документы, писали указы приставу, грамоты томским и кузнецкому воеводам.

Наконец 23 февраля 1659 года посольство тронулось в обратный далекий путь. Пристав и провожатые у послов были те же: Д. Вяткин, М. Дорохов, И. Лаврентьев, Ф. Рудаков и К. Капустин, — которым вручили под сохранность царское жалованье — пищаль «турскую» (турецкую — А. У.), две половинки сукна, панцирь «и чай для гостинцы». «Поденный корм» послам и их «кошеварам», а также питье велено было давать «по тому ж, по чему им давано на Москве», причем норму вина на отрезок пути до Переяславля Залесского они получили в столице Руси. Обратный их путь пролегал через те же города и длился так же долго, как и проезд до Москвы.

В Томск была отправлена царская грамота, сообщавшая о результатах переговоров с телеутскими послами.

Этот документ любопытен во многих отношениях. В констатирующей части грамоты упоминалось о приезде Мамруча и его коллег сначала в Томск, а потом в Москву, о шерти Коки и Абака, о челобитье послов по поводу отпуска вины князей. Много места уделено челобитью о пищали, панцире и сукнах. Однако ни слова нет о том, что послы били челом о военной помощи, о разрешении князьям телеутов собирать с шорцев ясак железом, о возвращении им отнятых лесин и др. И это, конечно, не случайно: поскольку челобитье было устным, всегда можно было обвинить самих послов в том, что они вообще не били челом по нежелательному вопросу. Подтверждением этого в руках воевод являлась ловко составленная царская грамота, а у послов никаких подтверждений, что они действительно били челом по этим



вопросам, не было. Этот прием довольно часто применяли приказные, когда имели дело с народами, не имевшими письменности.

Интересен и другой момент. Из протокола видно, что именно дьяки требовали, чтобы Кока и Мачик давали в аманаты «своих детей от прямых жен». В грамоте же это требование подается как желание самих князей, которое правительству оставалось лишь удовлетворить.

Томским воеводам было предписано «отослать к князьям» пищаль, панцирь и сукна, то есть все «царское жалование» лишь после того, «как они аманатов в Томской дадут». Воеводы должны были задержать в Томске послов, пока съездит к Коке и Мачику специальный посол. Его задача заключалась в том, чтобы известить князей о прибытии посольства из Москвы, об отпущении их виш царем и принятии Коки и Мачика под «высокую царскую руку» и присылке им царского жалования — пищали и др. Интересно, что в инструкции этому послу снова обойдены молчанием главные «нужки» Коки и Мачика — просьба о военной помощи, возвращение незаконно присвоенного в Кузнецке их имущества и др. Зато обязательства князей, принявших шерт, были дополнены весьма существенным пунктом, требовавшим от них чисто вассальной готовности оборонять сюзерена. Кроме того, князья должны были приводить в подданство «иных, свою братью» и давать в аманаты непременно детей своих от «прямых жен». Только исполнение всех этих условий может гарантировать вассалу «милость» и «жалование», «призренье» и от неприятелей оборону.

Таким образом, миссия специального посланца заключалась в том, чтобы, так сказать, подготовить князей и напомнить им об отправке в Томск «на перемену» послам аманатов.

Но главная его задача была чисто разведывательного характера. Он должен был, будучи у князей «разсмотреть и проведать»: «подлинно колмацкие князцы по своей шерти у нас, великого государя, в холопстве» (1), «впрямь ли быть хотя неотступно» (2), «аманатов пришлют они от прямых жон детей» (3).

Только после возвращения этого посланца, который подтвердит подлинность намерений телеутских князей, и присылки в Томск аманатов, грамота разрешала отпустить в «Телеутскую землю» Мамруча с товарищами и отдать князьям царское пожалование — пищаль, панцирь и сукна, причем «по росписи».

Когда и как добралось посольство Коки и Мачика до Томска, как отнеслись телеутские князья к результатам работы своей дипломатической миссии — точных сведений об этом мы не имеем.

Но несомненно, что поездка телеутских послов в Москву явилась важной вехой в русско-алтайских отношениях XVII в. Сам по себе факт отправки Мамруча и его товарищей и прием их в Посольском приказе говорит о том значении, которое придавало русское правительство делу урегулирования отношений с телеутами, и какую роль оно отводило повелителям телеутов в Южной Сибири. Он свидетельствует о том, что царское правительство было вынуждено считаться с Кокой и Мачиком как со сравнительно крупной политической силой, стремилось привлечь ее на свою сторону и использовать материальные и людские ресурсы телеутских княжеств в своих целях.

Отправка телеутского посольства для ведения переговоров с русскими властями на самом высоком уровне должна быть расценена как большой успех телеутской дипломатии. Переговоры в Москве явились кульминацией русско-алтайских отношений в XVII столетии: никогда — ни до, ни после того послы телеутских князей не бывали в Москве. Правда, после перехода части телеутов в русское подданство и переселения их в район Кузнецка, в Москве в 1673 г. побывали делегаты этих, так называемых «выезжих белых калмыков» во главе с Балыком Кожановым, но это была типичная поездка челобитчиков от служилых людей, подданных царя.

Посольство Мамруча, несмотря на его довольно скромные результаты, подняло престиж телеутских князей в глазах других феодальных владетелей. Важны были ре-

зультаты московских переговоров и в плане ближайших перспектив борьбы князя Коки против сепаратизма братьев и против черных калмыков. Правда, князь не получил просимой военной помощи, но тем не менее его противники должны были понять, что за спиной Коки стоит его могущественный союзник, обещающий ему «обереженье» от его «недрузей». Эту позицию русских властей нельзя недооценивать: какими бы субъективными мотивами ни руководствовало русское правительство, принимая это обязательство, объективно его поддержка помогла телеутским князьям избежать окончательного разгрома от черных калмыков. Перебравшись за Обь, на Мереть, Кока чувствовал себя в большей безопасности (Томск от его кочевий находился всего в трех днях пути), нежели в степях обского левобережья, где он кочевал со своими улусами последние несколько лет.

Урегулирование отношений с русскими не только укрепляло тыл Коки в борьбе с черными калмыками, оно способствовало усилению экономических связей телеутов с русскими уездами, в первую очередь, восстановлению и усилению торгового обмена, который имел большое значение для обеих сторон.

Наконец, существенное значение имело и то обстоятельство, что хотя бы на время прекратились разорительные набеги, нарушавшие нормальное течение хозяйственной жизни и русских и телеутов, уносившие человеческие жизни и питавшие враждебные настроения друг к другу.

Конечно, результаты посольства Мамруча не могли удовлетворить полностью князей Коку и Мачика, телеутских феодалов в целом. Они не ликвидировали тех противоречий, которые разделяли их и русские власти. Не случайно мирное затишье скоро снова сменяется военными стычками, начинаются набеги телеутских феодалов на русские деревни. Телеутские феодалы не хотели терять монополии на угнетение своих единоплеменников. Они не хотели при этом считаться ни с горем и страданиями трудящихся кочевников, ни с разорением их хозяйств и хозяйств оседлых кыштимов, ни с заметно возросшей их тягой к сближению с русским народом.

Эта недалевидная и своекорыстная политика телеутских князей и князьков принесла неисчислимые страдания алтайскому народу, привела его под тяжкое ярмо Джунгарии, государства, не имевшего исторической перспективы, и отдалило время приобщения алтайцев к более высокой русской культуре.

(Написано по материалам Центрального государственного архива древних актов и Архива Академии наук СССР).





С улыбкой

Александр БЕСФАМИЛОВ

## ОБЗРИМОЕ БУДУЩЕЕ

### ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

Об экспериментах и достижениях в области пересадки органов говорят много. Особенно интересным было выступление в «Литературной газете» члена-корреспондента Академии медицинских наук СССР Н. Амосова. Его статья «Спорное и бесспорное» раззадорила мое любопытство. Я попытался заглянуть в будущее.

Автор

Нервишки мои начали заметно сдавать. Я стал вспыльчивым, нетерпимым и нередко вступал в конфликт с окружающими.

— Надо менять нервную систему, — сказал врач.

С направлением в кармане я поспешил в Институт протезирования. Очередь была подходящая, но дело шло быстро. В час пропускали пять-шесть пациентов. Чтобы скоротать время, я отправился бродить по залам Института.

Вдоль стен тянулись витрины с образцами протезов. Искусственные почки, сердца, желудки... А вот и искомое: «Нервно-темпераментный агрегат». — прочитал я.

Объяснения давал научный сотрудник.

— Перед вами синтетический нервный комплекс системы СПВ — «Спокойствие прежде всего», — говорил он. — Аппарат изготовлен из дакрона с силиконовым амортизатором. Незаменим в быту и на производстве. Нечувствителен к грубостям и уколам самолюбия.

Не успел он окончить, как посыпались вопросы. Каков срок носки? Есть ли запчасти? Как с гарантийным ремонтом? Нельзя ли приобрести дополнительный амортизатор?

Особенно волновалась пациентка с синтетическим языком. Она

заявила, что будет ждать, пока придут нервные устройства Харпецкого завода протезов.

— Двенадцать лет ношу Харпецкий язык — и все как новенький, — говорила она. — А у соседки импортный, на пятый год сдерживающий механизм отказал...

Я поинтересовался, имеются ли нервные системы пятьдесят второго размера.

— Какой рост? — осведомился сотрудник.

— Третий.

— С полдесятка осталось.

— А безразмерные есть? — послышался чей-то веселый голос.

Подошла моя очередь. Не без робости переступил я порог операционной. Последний раз я был здесь лет десять назад, когда мне меняли позвоночник. С тех пор тут многое изменилось. Медперсонал заменили роботы. Только хирург-протезист был еще тот же.

Хорошенькая медсестра-робот усадила меня в кресло и включила холодильную установку. Пока тело доходило до точки замерзания, она развлекала меня юмористическими рассказами (перевод с польского). Через десяток минут я был вывернут наизнанку. Протезист приступил к операции. Я попытался заглянуть внутрь себя. Медсестра указала на телевизор:

— Смотрите сюда.

Системочка, действительно, оказалась изношенной. Нервные узлы ослабли, волокна провисли...

— Что ж вы, батенька, запустили так? — пожурил хирург. — Того и гляди, нервы лопнут.

— Некогда было, — оправдывался я. — Все время в командировках: то на Луну, то на Марс...

Наконец нервный комплекс был вставлен. Приступили к подключению амортизатора. В это время в операционную внесли ванночку с живой головой. (Тело этого пациента настолько изнашивалось, что врачи решили целиком заменить его синтетическим). Голова нервничала, заявляя, что ей необходимо торопиться. У нее в кармане билет на футбольный матч «Темп» — «Динамо» (Киев).

Мне уже склеивали швы универсальным клеем БФ, а голову только-только начали привинчивать к туловищу.

Снедаемый любопытством, я дождался ее в вестибюле.

— Ну как, благополучно? — поинтересовался я.

— Порядок! — бодро ответила голова, торопливо переставляя синтетические ноги. — Бегу на матч! Извините!

Я проводил ее восхищенным взглядом и отправился смотреть научно-фантастический фильм «В обозримом будущем».



## СОДЕРЖАНИЕ

Иван ЯГАН. Данилкино утро. Повесть . . . . .	3
Николай ОСИНИН. За себя и за нас. Главы из документальной повести	50

### НОВЫЕ РАССКАЗЫ И СТИХИ

Петр СТАРЦЕВ. Открытие. Пиратка . . . . .	67
Надежда МЕДВЕДЕВА. Редкий экземпляр . . . . .	76
Марк ЮДАЛЕВИЧ. Восьмистишия . . . . .	80
Павел ТРЕМАСКИН. Белый снег. Стихи . . . . .	82
Михаил ПРОКОПЧУК. Зимой. Стихи . . . . .	83

### О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ

Георгий ЕГОРОВ. Лейтенант Атаев . . . . .	84
Евгений ГУЩИН. Глухаринная ночь . . . . .	91

### ЧИТАТЕЛИ, ПИСАТЕЛИ, КНИГИ

Георгий КОНДАКОВ. Горький и Горный Алтай . . . . .	98
Борис БРАТОВ. Пять самых первых . . . . .	106
Иван КАЗАНЦЕВ. В чем секрет успеха . . . . .	112

### ИЗ ПРОШЛОГО НАШЕГО КРАЯ

Алексей УМАНСКИЙ. Посольство телеутских князей в Москву (1658—1659 гг.) . . . . .	115
--	-----

### С УЛЫБКОЙ

Александр БЕСФАМИЛОВ. В обозримом будущем. Юмористический рассказ . . . . .	126
--	-----

Художественный редактор В. Раменский  
Технический редактор М. Сафонова  
Корректор С. Карпова

Сдано в набор 26. IV. 1968 г. Подписано к печати 21. VI. 1968 г.  
Формат 70×84/16. Бумага тип. № 3. Усл. п. л. 8,72. Уч.-изд. л. 8,69 + 2 вкл.  
Тираж 5000 экз. АГ 03087.

Алтайское книжное издательство, Барнаул, Ленина, 76. Заказ № 1279.  
Типография № 1 Управления по печати, Барнаул, Льва Толстого, 29.  
Цена 40 коп.

Электронная библиотека АКУНБ, [elib.altlib.ru](http://elib.altlib.ru)





Цена 40-коп.



Электронная библиотека АКУНБ, elib.aunb.ru

Электронная библиотека АКУНБ, [elib.altlib.ru](http://elib.altlib.ru)



Электронная библиотека АКУНБ, [elib.altlib.ru](http://elib.altlib.ru)